



**Н. И. КОСТОМАРОВ**

## **Личность царя Ивана Васильевича Грозного**

В нашей русской истории царствование царя Ивана Васильевича Грозного, обнимающее половину лет, составляющих XVI столетие, есть одна из самых важных и достойных особого исследования эпох. Оно важно как по расширению русской территории, так и по крупным и знаменательным событиям и изменениям во внутренней жизни. Много было совершено в этот полувековой период славного, светлого и великого по своим последствиям, но еще более мрачного, кровавого и отвратительного. Понятно, что при таком противоположном качестве многих важных явлений характер главного деятеля — царя Ивана Васильевича представлялся загадочным; уяснить и определить его было немаловажною задачею отечественной истории, а это было возможно только при разнообразном изучении как былевой, так и бытовой стороны того века, к которому принадлежал царь Иван Васильевич. К счастью, Карамзин именно на этой части русской истории показал всю силу своего таланта, более чем на всякой другой, и с замечательною верностью угадал характер этой личности; оставалось доканчивать начатый им мастерский очерк и, при помощи новых данных и при дальнейшей разработке источников, сообщать ему более телесности, красок и жизни, а в некоторых случаях и поправлять допущенные историографом неверные черты, касающиеся, впрочем, большею частью подробностей. Но историки наши и исследователи не удовольствовались намеченным путем и стали пролагать пути иные, находя взгляд Карамзина неверным и образ царя Ивана Васильевича, им первоначально обрисованный, не соответствующим действительности. Само собою разумеется, что

разнообразные мнения и противоречия во взглядах бывают полезны для установления, посредством борьбы между ними, правильных взглядов; поэтому и различные мнения о личности царя Ивана Васильевича не принесут вреда русской истории, даже и тогда, когда бы нам пришлось, предав их по рассмотрении полному забвению, возвратиться к Карамзину и разрабатывать эпоху Грозного, руководствуясь основными началами его взгляда.

Пред нами «Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного», подписанных именем К. Н. Бестужева-Рюмина, профессора Санкт-Петербургского университета. Эти «Несколько слов» были сказаны в заседании славянского благотворительного комитета и напечатаны в мартовской книжке «Зари». Здесь воздается похвала «великолепному рассказу о завоевании Сибири Ермаком», который «года два тому назад в одном из собраний читал А. Н. Майков», заявляется желание, чтоб этот поэт представил в поэтических образах всю эпоху Грозного, и в противоположность этому поэту говорится о другом поэте в таких выражениях:

«Другой поэт вывел нам царя Ивана Васильевича Грозного таким, каким он его себе представляет, и мне кажется, что выведенное им лицо недостаточно соответствует настоящему лицу; это тем прискорбнее, что вред, производимый впечатлением поэтического произведения, должен быть весьма силен».

Хотя этот другой поэт и не назван по имени, но для всякого слишком ясно, что дело идет об А. К. Толстом, авторе трагедии «Смерть Грозного». Мы до сих пор убеждены, что главнейшее достоинство этого произведения именно и состоит в замечательной верности характера царя Ивана, в том, что выведенное лицо достаточно соответствует настоящему лицу. Чем же именно недовольны в произведении Толстого? «Тем, говорят нам, что пред нами является коварный тиран, самолюбивый и самовластный деспот, и более ничего». В противность этому хотят возвысить царя Ивана Васильевича в образ великого человека, поставить его почти в уровень с Петром. «Если, говорят нам, перед нами стоят два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми почти средствами для достижения их за изменением только некоторых несущественных обстоятельств, то мы обыкновенно отдаем преимущество, венчаем лаврами того, который одержал полную победу; мы видим человека, достигшего последних результатов, видим торжество блистательное — унижение соседнего государства, стоявшего прежде на первом плане на всем Севере — мы видим полное достижение цели и видим

его торжественно сходящим с своего поприща. Мы говорим: вот великий человек! Обращаясь к другому, мы видим, что цели были те же, но не было того торжества, и говорим: этот не был великим человеком! Будем ли мы правы? Если мы будем называть великим человеком только того, кто, идя к цели, при известном положении дел выбирает средства, действительно соответствующие этой цели, тогда мы будем совершенно правы; но действительно ли всегда можно, с имеющимися под рукою средствами, достигнуть желаемой цели, и неужели человек, ранее другого стремившийся к известной цели, но не имевший под руками средств для ее достижения, не заслуживает если не венчания лаврами, то, по крайней мере, нашего участия, нашего внимательного изучения? В таком положении мы стоим перед двумя нашими великими историческими лицами: перед Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным. Оба они одного хотели, к одному стремились; но один имел Полтаву и Ништатский мир, другой же имел мир на Киверовой горке и проч.

Прежде всего нужно уяснить себе, что следует называть великим, что действительно достойно этого названия. Нам кажется, следует строго отличать великое от крупного. Победы, кровопролития, разорения, унижения соседних государств для возвышения своего — явления крупные, громкие, но сами по себе не великие. Сочувственное название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству. Тот только великий человек, кто действовал с этими целями и достигал их удачным, сознательным выбором надлежащих средств. Относительная степень исторического величия может быть определена как суммой добра, принесенного человечеству, так и уменьем находить для своих целей и пути средства, преодолевать препятствия и, наконец, пользоваться своими успехами. Если историк называет человека великим только тогда, когда видит за ним успех, и настолько признает за ним величия, насколько деятельность его была плодотворна, — историк вполне прав; это, без сомнения, не лишает его права на сочувствие к тем, которые имели хорошие цели, но не могли или не умели найти средств и путей к их выполнению; нужно только при этом быть уверенным, что действительно такие цели существовали.

Таким образом, мы имеем полное право питать сочувствие к тому испанцу, который в XII столетии, в Барселоне, показывал первую попытку к устройению парового судна и до некоторой степени испол-

нил свою идею, хотя не можем придать ему одинаковое историческое величие с Уаттом и Фульгоном, потому что это была бы историческая ложь. Но в таком ли отношении стоит царь Иван Васильевич к царю Петру Алексеевичу? Нас именно в этом хотят уверить. Чем же? Указывают на такого рода сходство в действиях того и другого: Иван в XVI столетии стремился завоевать Ливонию, а Петр в XVIII. Петру удалось; Ивану не удалось, потому что было еще рано. Вот что значит сопоставлять одни внешние признаки: на подобном сходстве можно выводить в истории Бог знает какие произвольные заключения.

С нашей точки зрения, и удачное завоевание Ливонии Петром Великим совсем не великое дело само по себе, и за подобные дела мы бы и самому Петру не дали названия великого человека, если бы не видели за ним действительно великих намерений и деяний, клонившихся к полезным для народа преобразованиям и к расширению его благосостояния. За Иваном Васильевичем мы не знаем таких целей, и нам не указывают ничего подобного, кроме попытки завоевания Ливонии. Но ведь нужно еще доказать, что у него при этой попытке были действительно намерения и планы, сколько-нибудь подобные преобразовательным намерениям Петра. Нет ничего ошибочнее и поверхностнее взгляда тех историков, которые, не вдаваясь в исходы явлений, без дальних рассуждений готовы приписывать все, совершенное в монархическом государстве, сидевшим тогда на престоле государям, довольствуясь как будто только тем, что их именем производились все дела. Этак можно все деяния Ришелье при Людовике XIII и деяния Мазарини в малолетство Людовика XIV приписывать тем лицам, которые носили в то время титул французских королей. Сколько примеров встречаем мы в истории, когда на престоле находился младенец, между тем все делалось его именем и носило вид, как будто бы все исходило от него и зависело от его благоусмотрения и воли. Руководствуясь официальными источниками, можно и в самом деле приписывать государственные дела младенцу или же слабоумному, который, как известно, попавши, по слепому случаю рождения, на престол, нуждается в опеке, как и младенец. Всякий признает ошибочность такого рода обращения с историей, а между тем этому упреку справедливо подвергаться могут, в известной степени, историки, которые станут приписывать царю Ивану Васильевичу все дела, совершенные в его царствование, хотя бы даже и со времени его совершеннолетия.

История Карамзина приводит читателя к такому заключению, что царствование Грозного, с того времени, когда он уже сколько-

нибудь мог иметь влияние на ход событий собственной волею, разбивается на три части. Сперва, испорченный в детстве воспитанием, этот царь, достигши юношеского возраста, является с признаками своеволия, разврата и жестокости, потом он попадает под влияние Сильвестра, Адашева и кружка умных бояр; тогда творятся великие дела, правление государством показывает признаки политической мудрости и попечения о нравственном и материальном благосостоянии народа; но потом Иван свергает с себя власть своих опекунов и является необузданным, кровожадным, трусливым и развратным тираном. Новые историки приписывают самодеятельности царя Ивана Васильевича все хорошее, совершенное во втором из периодов или частей своего царствования со времени совершеннолетия, и хотят представить в более светлом виде третий период.

Во всем капитальная ошибка.

Изучая характер личности царя Ивана Васильевича, мы сомневаемся, чтоб он когда-нибудь действовал самостоятельно, и думаем, что этот государь всю жизнь находился под влиянием то тех, то других, как это бывало, большею частию, с подобными ему тиранами (причем очень часто оказывать влияние на тирана было вернейшим средством быть от него со временем замученным). Но по отношению к третьему периоду его царствования, со времени так называемой перемены, происшедшей будто бы в его характере по смерти Анастасии, мы должны будем нашу мысль доказывать наблюдениями над фактами и проявлениями характера Ивана Васильевича в разных положениях его жизни, тогда как по отношению ко второму периоду нам не нужно даже и этого труда, потому что есть данные, вполне несомненные, доказывающие отсутствие самостоятельности Ивана Васильевича в это время. Излагать все это подробно и доказывать — значило бы повторять то, что уже было однажды высказано нами в печати\*. Здесь считаем не излишним напомнить только то, что составляет главную и основную тему наших доказательств: царь Иван Васильевич в письмах своих к Курбскому признавался сам, что он находился под опекою Сильвестра и его кружка до такой степени, что все дела совершались не только не по его указанию, но часто против его желаний. Это сознание царя подтверждает истину того, что говорит о том же Курбский, как и вообще доверие наше к Курбскому увеличивается оттого, что Иван Васильевич не отвергает фактической действительности того, что говорит Курбский, а только

---

\* См. нашу статью «Начало единодержавия».

представляет в ином свете. Таким образом, несомненно, что дела, составляющие славу царствования Ивана до падения Сильвестра, исходили от этого последнего и от людей его кружка, тогдашних советников царя, истинных правителей государства. Только Ливонская война, предпринятая уже тогда, когда Иван Васильевич стал чувствовать тягость опеки над собою и поддавался влиянию иных советников, была не их делом. Тут-то возникла размолвка царя со своими опекунами. Новые историки наши по этому поводу берут сторону царя. «Что это были за люди? говорят они: представляли ли эти люди собою более широкий политический идеал, чем идеал Грозного? Этих людей мы знаем отчасти, мы знаем, что в политическом отношении они были против Ливонской войны, а за войну с Крымом, с татарами, т. е. за продолжение старого... Когда царь Иван Васильевич Грозный говорил: я хочу завоевать Лифляндию, хочу утвердиться на берегах Балтийского моря, ему отвечали на это самые близкие советники, которых мы до сих пор не отвыкли называть лучшими его внушителями и относить к лучшим людям своего времени, Сильвестр и Адашев: зачем идти туда, не лучше ли завоевать Крым, идти по старому пути». Так смотрят новые историки.

Не все новое непременно должно быть лучше старого. Новая ошибка все будет ошибкою, а правда не стареется. Но в каком отношении можно назвать старым путем стремление овладеть Крымом? Разве в том смысле, что некогда Русь стремилась к югу, Олег, Игорь, Святослав, Владимир двигались на византийские пределы, а Черное море носило название Русского? Но то были дела, давно минувшие; наплыв иных исторических условий стер живость воспоминаний о них. События XVII века вызывали возобновление этого давнего, позабытого стремления Руси к югу, без всякой привычки идти по старому пути, и в этом отношении стремление покорить Крым, которое иным кажется старым путем, по нашему крайнему разумению, было путем самым разумным, вытекавшим из настоящей потребности как для государства, так и для безопасности дальнейшего развития народной жизни.

Борьба Руси с татарщиною была борьба на жизнь и на смерть. Освободиться от ига, тяготевшего над Русью два века с лишком, и тем ограничиться было невозможно. История это доказала. Передав составившую могучую азиатскую завоевательную державу, монголо-татарщина, разбившись на части, не могла уже владеть Русью; зато этой Руси не давали жить на свете разные орды, из которых главнейшие носили названия царств. Если не мытьем, так

катаньем — говорит известная русская поговорка. Казанцы и крымцы, не в силах уже будучи заставить, как делали предки их в Золотой Орде, приезжать русских государей к себе с данью, то и дело что грабили, разоряли русские жилища, русские поля, убивали, вводили в неволю десятки тысяч русского народа, заставляли откупаться от себя, что в сущности было продолжением платежа дани, не давали русским ни подвинуться в плодороднейшие пространства, ни улучшать свой быт. По их милости, русский народ продолжал быть самым несчастным, нищим народом; вся его история наполнена однообразными, неисчислимыми и в свое время страшными разорениями. Первое условие возможности благосостояния и процветания Руси было уничтожение этих хищнических гнезд, покорение татарской расы славянскою, присоединение к себе ее территорий. Того требовала не алчность к завоеваниям, а потребность самосохранения; это было неизбежное условие благосостояния. Ввести у татар иной образ жизни, сделать их спокойными соседями невозможно было иначе, как подчинив их: в принципе монголо-татарских царств быть самостоятельными значило то же, что нападать, грабить и разорять соседей. Царство Казанское было разрушено: первым благодетельным последствием этого события было то, что более сотни тысяч несчастных русских рабов получили свободу и возвращены были отечеству и христианству; второе — что уже не сотни тысяч, а миллионы грядущих поколений избавлены были от той судьбы, которая ожидала их самих и угрожала их предкам. За Казанью покорена была Астрахань. Та же участь должна была постигнуть и других татар: это была потребность не царская, а всенародная; и действительно, впоследствии Ермак Тимофеевич, мимо всяких царских указов, довершал на дальнем востоке путь, проложенный русскими под Казанью. Но на юге торчало между тем татарское царство — более всех несносное для Руси, более всех мешавшее ее движению вперед: то был Крым. Важность этого края в русской истории недостаточно еще оценена историками. Пока там существовало хищническое гнездо, Русь не могла безопасно подвигаться на юг и занять пространства плодородных земель, которые должны были составить главнейшее ее богатство, экономическую силу и богатство государства и народа. В XVI веке граница спокойных владений Руси оканчивалась каких-нибудь верст за сто от Москвы: далее начиналось редкое население бедных острожков, где жители беспрестанно должны были опасаться за свою жизнь и где не могло быть спокойного улучшения быта; по мере удаления к югу

русские должны были дичать и делаться более азиатским, чем европейским народом.

В следующее затем столетие народонаселение на юге увеличилось очень медленно в сравнении с тем, как оно в той же полосе увеличивалось в более позднее время — по завоевании Крыма. Что касается до культуры в этом крае, то в царствование Анны, Елисаветы и даже Екатерины Южная Россия и даже прилегавшая к ней часть Средней были очень дики. Мы прожили каких-нибудь лет пятьдесят с небольшим на свете, а помним виденных нами в юности престарелых жителей южных (даже не совсем крайних) губерний, которые, в качестве воспоминаний своего детства, рассказывали нам о страхе татарских набегов, которому подвергались земледельцы; последние тогда не слишком заботились о выгодах оседлого житья, опасаясь, что, быть может, придется покинуть свое гнездо и бежать куда глаза глядят. Бесспорно, что существование Крымского царства, которому кроме полуострова были подчинены на материке бродячие орды, готовые во всякое время делать набег на Русь, было одною из главнейших причин медленности расселения русского народа на огромном материке средней и южной Руси, и плохого хода культурного развития вообще в русской стране. Если и теперь мы чувствуем и сознаем нашу отсталость от Западной Европы, то в числе многих неблагоприятных условий мы обязаны этим и Крыму. Наша история пошла бы совсем иначе, если б в XVI столетии исполнились замыслы тех людей, которых новейшие историки лишают умственного превосходства пред царем Иваном Васильевичем за то, что они хотели овладеть Крымом, идя «по старому пути». Нам могут возразить: да, овладеть Крымом было бы хорошо, но это было в те времена невозможно, и потому-то прозорливый и мудрый царь, видевший лучше своих советников эту невозможность, обратил свою деятельность в иную сторону. Но, вникая в тогдашние обстоятельства, окажется, что именно тогда наступало самое удобное время к осуществлению такого намерения и, следовательно, за людьми, хотевшими вести Русь «по старому пути», придется не только признать верный взгляд на потребности Руси, но еще и практическое понимание условий времени, умение поступать сообразно пословице: куй железо, пока горячо! Послушаем Курбского, современника и участника этих замыслов. Пусть он за нас защитит своих друзей, сторонников «старого пути», против строгого суда наших ученых.

«Бог пустил на татар нагайских зиму жестокою — весь скот у них пропал и стада конские, и самим им на лето пришлось исчезать,



потому что орда питается от стад, а хлеба не знает; остатки их перешли к перекопской орде, и там рука Господня казнила их: от солнечного зноя все высохло, иссякли реки; три сажени копали в глубину и не докопались до воды, а в перекопской орде сделался голод и великий мор; некоторые самовидцы свидетельствуют, что во всей орде не осталось тогда и десяти тысяч лошадей. Тут-то было время христианским царям отмщать басурманам за беспрестанно проливаемую православную христианскую кровь и навеки успокоить себя и свое отечество; ведь они на то только и на царство помазываются, чтобы судить справедливо и оборонять врученное им от Бога государство от варваров. Тогда и нашему царю некоторые советники, храбрые и мужественные, советовали и налегали на него, чтоб он сам, своею головою, двинулся с великими войсками на перекопского царя, пользуясь временем, при явном божеском хотении подать помощь, чтобы уничтожить врагов своих старовечных и избавить множество пленных от издавна заведенной неволи. И если б он помнил значение своего царского помазания да послушал добрых и мужественных стратегов, получил бы великую славу на сем свете и наградил бы его тьмами крат более Создатель Христос Бог в будущей жизни. А мы готовы были души свои положить за страдавших много лет в неволе христиан, потому что это была бы добродетель выше всех добродетелей. Но наш царь не радел об этом и едва послал только пять тысяч войска с Димитрием Вишневецким рекою Днепром, а на другое лето — восемь тысяч, также водою, с Данилом Адашевым и другими военачальниками; они, выплыв Днепром в море, неожиданно для татар учинили в орде большое опустошение: многих убили, жен и детей их немало взяли в плен, немало освободили из неволи христианских людей и вернулись благополучно домой. Тогда мы паки и паки налегали на царя и советовали ему: или сам бы шел, или хоть бы великое войско послал вовремя в орду; но он не послушал, спорил против нас, а его настраивали ласкатели, добрые и верные товарищи трапез и кубков, друзья различных наслаждений».

Нет никакой причины сомневаться в верности известий и взгляда Курбского, тем более, когда известный нам ход тогдашних событий вполне согласуется с Курбским. Мы видим в Иване Васильевиче какое-то колебание в этом вопросе; заметно, что он находился под различными противоположными двигательными силами, то делал шаг вперед, то отступал назад, то поддавался мысли покорения Крыма, то боялся вдаться в ее исполнение; а между тем обстоятельства так были благоприятны для такого исполнения, что все

его даже несмелые и боязливые шаги вперед пророчили ему дальнейший успех. Прежде всего, в 1557 году он, поддаваясь, конечно, внушениям сильвестровского кружка, послал Ржевского с отрядом, и Ржевский совершил свое поручение так удачно и с такими надеждами на будущие удачи, как только возможно было при тех слабых силах, какие имел он в своем распоряжении. Он разбил крымцев под Ислам-Кирменем, взял очаковский острог, разбил там татар и самых турок: такие блестящие подвиги произвели сильное возбуждение в Днепровской Украине, где уже образовалось воинственное козачество, всегда готовое броситься на татар, как только увидит надежное знамя, под которым можно было собраться. Князь Димитрий Вишневецкий, этот первообраз целого ряда последовавших за ним героев, этот богатырь-Байда народных козацких песнопений, предлагал московскому государю свои услуги против Крыма. Он тогда же готов был поклониться царю с Черкасцами, Каневом, с козацкою Украиною, сердцевиною той разросшейся Украины, которая поклонилась другому московскому царю через столетие. Царь Иван не решился принять его с землями: быть может, он имел тогда основание, не желая раздражать литовского государя, с которым союз мог ему пригодиться против того же Крыма. Он дал Вишневецкому Белев. А потом что? Не решившись идти сам с войском, он, однако, как будто не прочь был вести дело, а хотел еще раз испытать бессилие своих врагов. Вишневецкий отправился к Перекопу. На этот раз пошло дело еще успешнее, чем с походом Ржевского. Хан испугался, сел в осаде, орда не отражала нападения. Хан отпустил русского посла, которого до того времени держал в неволе, изъявлял желание быть в мире с царем. Ясно было, что Крым не в силах будет защититься, если на него пойдут новые и притом большие силы с самим царем во главе. Но царь Иван Васильевич и теперь не поддавался увещаниям принять начальство над войском и идти на Крым. В то же время, однако, не примирился он с ханом, а еще раз послал на Крым новый отряд, как будто еще раз хотел сделать попытку и узнать: точно ли враг бессилен, хотя узнавать уже было тогда нечего. Данило Адашев отправился на судах по Пслу, а потом Днепром в море и причинил большое опустошение на западном берегу полуострова. Отпора не было. Хану Девлет-Гирею было с разных сторон дурно. Черкесы отняли Таманский полуостров. Внутри Крыма происходило междоусобие. Мурзы, недовольные правлением Девлет-Гирея, хотели возвести на престол Тохмамыш-Гирея, это не удалось. Тохмамыш бежал в Московское государство. Это могло быть новою

помощью московскому государю: объявив себя покровителем претендента, он мог внутри Крыма между татарами найти партию, которая невольно способствовала бы его успехам в надежде посадить на престол Тохтамыша и заслужить внимание и благодарность нового хана. Царь Иван ничем не воспользовался.

Царь Иван тогда вообще все более и более старался действовать наперекор Сильвестру и его кружку. Он уже завязался в Ливонскую войну и был чрез то самое накануне разрыва с Литвою и Польшею, с которыми предполагали его бывшие опекуны действовать совместно для покорения Крыма.

Время показало все неблагоприятное поведение царя Ивана Васильевича по отношению к Крыму. Уж если он не хотел завоевать Крым, то не нужно было и раздражать его нерешительными и неважными нападениями. Напротив, московский царь начинал и не кончал, не воспользовался удобным временем — эпохою крайнего ослабления врага, а только раздражил его, дал ему время оправиться и впоследствии возможность отомстить вдесятеро Москве за походы Ржевского, Вишневецкого и Адашева. Тот же Девлет-Гирей, который трепетал от приближения немногочисленных русских отрядов, в 1571 году с большим полчищем в 120 000 (как повествуют бывшие в Москве иностранцы) прошел до Москвы, опустошая все русское на своем пути, и появление его под столицю было поводом такого страшного пожара и разорения, что московские люди не забыли этой ужасной эпохи даже после Смутного времени, и при Михаиле Федоровиче иноземцы слышали от них, что Москва была многолюднее и богаче до одного крымского разорения, а после него с трудом могла оправиться.

Однако наши почтенные историки уверяют, что царь Иван поступил благоразумно, не послушавшись советов устремить все силы на Крым. Возиться с Крымом, по их соображениям, было некстати московскому государю; во-первых, очень затруднительно было сообщение Москвы с Крымом, не то что с Казанью и Астраханью, куда можно было идти значительную часть пути водою; во-вторых, если бы и удалось покорить Крым, то невозможно было удержать его, при сравнительном малолюдстве русского народа, так как трудно было бы отделить значительное русское население в новопокоренную землю; в-третьих, покорение Крымского полуострова вовлекло бы Русь в войну с Турциею, которая находилась в то время в апогее своей славы и силы, была страшна всей Европе.

Нельзя не признать основательности таких замечаний. Но для всякого предприятия, особенно такого, которое сопряжено с борьбою,

есть свои препятствия; однако для всяких препятствий найдутся соответствующие средства избегать их или преодолевать, и если историк, оценивая намерения исторических деятелей, будет подбирать одни препятствия, с которыми эти деятели должны были бороться, не обращая внимания на средства, возможные в свое время для устранения препятствий, то взгляд историка будет односторонен и, следовательно, неверен. Указавши на препятствия, возникшие против исполнения известного предприятия, надобно указать и на средства, какие могли быть найдены, чтобы победить эти препятствия. Нам говорят, что сообщение с Крымом было затруднительнее сообщения с Казанью и Астраханью. Мы соглашаемся с этим, но не думаем, чтобы затруднения эти были совершенно непреодолимы. Главное удобство, по тогдашним условиям, состояло в водных путях. И что же? Мы видим, что большая половина пути от Москвы до берегов Крымского полуострова могла быть пройдена водою. Данила Адашев с восемью тысячами отправился на судах по реке Пслу, а потом по Днепру и, таким образом, мог достигнуть западных берегов Крымского полуострова. Был еще и другой пункт водного пути — тот же Воронеж, на который впоследствии обратил внимание Петр Великий. Нужно было, говорят нам, большое войско; однако нет основания думать, чтобы войско, необходимое для завоевания Крыма, при тех критических условиях, в каких находилась тогда орда, требовалось в таком количестве, которое было бы затруднительно выставить Московскому государству. Для покорения Казани Московское государство должно было послать до 130 000 воинов, а завоевание отдаленной Астрахани потребовало менее третьей части этого количества. Если крымские дела были до того расстроены, что отряды в пять и в восемь тысяч могли безотпорно опустошать владения хана и наводить на него великий страх, то что же могло быть, если бы, вместо восьми тысяч, явилось восемьдесят, да еще с самим царем, которого присутствие столько же благотельно в нравственном отношении подействовало бы на русскую рать, сколько зловредно на врагов? Появление царя на челе войска русской державы с решительным намерением покорить Крымское царство подняло бы, воодушевило и привлекло к царю, для совместного действия против крымцев, с одной стороны днепровское, с другой — донское козачество, а козачество, особенно днепровское, было бы совсем не малочисленную военную силу, потому что при той воинственности, которая охватывала украинское население, ряды его тотчас же увеличивались бы множеством свежих охотников и эта

сила почти ничего бы царю не стоила. Мы не говорим, впрочем, что бы Крым во всякое время мог быть так легко завоеван; мы имеем в виду только то печальное и расстроенное его состояние в половине XVI века, которым хотели воспользоваться советники царя Ивана Васильевича. Нам говорят: если бы даже царю и удалось завоевать Крым, то невозможно было бы его удержать по причине как отдаленности края, так и при малолюдстве русского народонаселения, причем нельзя было бы доставить в новопокоренный край достаточное количество русских поселенцев. Но не надобно выпускать из виду того важного обстоятельства, что Крым по качеству народонаселения в XVI веке был не то, что в XVIII и даже уже в XVII. Крымские ханы были страшны преимущественно теми ордами, которые бродили и кочевали в степях и находились в их распоряжении, когда нужно было их подвинуть на опустошение соседних земель. На самом полуострове собственно татарское население еще не составляло большинства; в XVI веке в Крыму еще очень много было христиан; их потомки, одичавшие, лишенные средств религиозного воспитания, под гнетом господства магометан не ранее как в XVII веке (а многие уже в XVIII), отатарившись, мало-помалу перешли к исламу, так что Екатерине II удалось спасти только остаток их, переселенный на берег Азовского моря под именем крымских греков\*. В XVI веке христиане были еще многочисленны и, конечно, встретили бы русское завоевание как избавление от иноверной неволи. Вот уже был готовый контингент для того населения, которое бы вначале послужило ручательством во внутреннем спокойствии края под русским владычеством. При таком выгодном условии Руси предстояло менее труда закрепить за собой новопокоренный край, чем это случилось с Казанскою землею, где, кроме татар, магометанская и языческая черемиса долго враждебно относилась к русской власти. Опасность вовлечься в войну с сильною Турциею была важнейшим препятствием. Но и это препятствие не было вполне неотвратимо. Нельзя сказать, чтоб Московское государство, овладевши Крымом, никак уже не могло сойтись дружелюбно с Турциею. Турция была сильна, но Турция была падка на выгоды. Если бы московский государь, сделавшись обладателем Крыма, предложил Турции выгодные условия,

---

\* Поразителен тот факт, что еще в XVII веке в Кафе (Феодосия), при 6000 домах, было 12 греческих церквей, 32 армянских и одна католическая, а в 1778-м число найденных в Крыму православных, но совершенно отатарившихся, простиралось только до 15 000 (см.: Хартохая. Истор. судьба крымск. татар. Вестн. Евр. 1867. Т. II. С. 152–173.)

даже известный постоянный платеж за тот же Крым (которым ведь Турция собственно не владела), то едва ли бы Турция не предпочла мирную сделку трудной войне. А если бы и не так, если бы пришлось Руси воевать с Турцией — война эта представляла бы для Турции гораздо более затруднений, чем всякая другая в Европе. Легко было нагайским летучим загонам и различным ордам нападать на южные пределы Московского государства внезапно и убегать в свои степи с добычей. Но двинуться с многочисленным турецким войском в глубину необозримых степей, подвергаться всевозможнейшим лишениям и неудобствам непривычного климата, встретить против себя всю сосредоточенную силу Руси — это было такое предприятие, что, сделавши опыт, Турция отказалась бы от него, особенно когда могла сойтись с Московским государством выгодно. Ведь впоследствии посылали же турки янычар на помощь Девлет-Гирею отнимать у Москвы Астрахань. Предприятие не удалось. Это уже может служить примером, что Турции нелегко было воевать на русском материке. При этом надобно заметить, что Москве представлялись пути действовать с постепенностью, которая бы задержала быстрые поводы к разрыву с Турцией. Можно было и в Крыму употреблять ту же политику, какую употребляли над Казанью и Астраханью, и, прежде чем завоевать окончательно Крым, сажать на крымский престол таких претендентов, которые были бы подручниками Москвы. Личность Тохтамыша была уже первым готовым образчиком. Постепенно, как это бывает всегда в подобных случаях, страна, управляемая подручником, все более и более подчинялась главенствующей державе, пока наконец не прильнула бы к ней и не вошла бы в систему ее непосредственных владений.

Замечательно, что тогдашние московские руководители крымского дела хотели действовать так, чтобы, елико возможно, не дойти до разрыва с Турцией: поэтому Данило Адашев, захвативши в Крыму в числе пленных, кроме татар, турок, отослал их к очаковскому паше, объяснивши, что московский государь воюет с крымским ханом, а никак не с падишахом. Видно, что, по их соображениям, можно было овладеть Крымом и уклониться от войны с Турцией, по крайней мере до времени.

Все намерения насчет Крыма, долженствовавшие, в случае удачного исполнения, открыть для Руси совсем иную дорогу, разбились об упрямство деспота, который уже вырвался из-под долгой опеки умных людей. Наши историки приписывают его нежелание продолжать крымское дело его прозорливости, политическому дальности.

видению, чуть не гениальности. «Он понимал, говорят они, лучше своих советников несвоевременность попытки над Крымом». Но если б в самом деле было так, то для чего ж он посылал Ржевского, Адашева, Вишневецкого заирать крымцев? Результат вышел очень плохой, когда крымцам дали оправиться. Нам кажется, побуждения, руководившие Иваном Васильевичем, гораздо проще объясняются: с одной стороны, он тяготился опекою, но, по недостатку нравственной силы, не мог свергнуть ее с себя сразу и переживал эпоху колебания; оттого выходило, что он то, по прежней привычке, поддавался внушениям своих опекунов и уступал их советам, то перечил им и своенравно приостанавливал ход начатого предприятия и портил его. Кроме того, как самое предприятие представляло для него личные опасности, то здесь вступало в свои природные права то всегдашнее свойство его характера — трусость, свойство неизменно общее всем подобным ему тиранам. Ведь и против Казани он лично поехал неохотно и после, когда уже Казань находилась под его властью, с досадою вспоминал, как его против воли повезли сквозь безбожную землю.

Но отчего историки наши величают царя Ивана Васильевича за Ливонскую войну? Говорят, что царь Иван лучше своих опекунов видел невозможность сладить с Крымом и обратил свою деятельность к такому предприятию, которое могло быть полезнее для России. Но разве это предприятие удалось? Нет. Не послушавши своих советников, оставив крымское дело на четверти дороги и затеявши покорение Ливонии, Иван навлек только на Россию бедствия и поражения с двух сторон: раздражив крымского хана и давши ему время оправиться, подверг страшному разорению Москву и центральные области государства и, вооруживши против себя Польшу, был побежден Баторием и не удержал Ливонии, стоившей напрасной потери русской крови. Но если — возражают нам — он и не успел в своем предприятии, все-таки он достоин уважения и сочувствия, как шедший по тому пути, по которому шел Петр Великий. А что общего между делами Ивана и Петра? Только то, что как Иван, так и Петр воевали в Ливонии. И только: это одни внешние признаки; на них исключительно нельзя опираться историку при оценке и определении характеров и значения исторических лиц. Петру нужно было возратить России море, загороженное Столбовским договором; Ливония вовсе не была его целью — она ему только подвернулась в войне, и он завоевал ее, действуя в силу обстоятельств, вследствие войны, которая велась совсем не ради Ливонии, а для

других целей. Царь Иван не был в таких обстоятельствах, в каких был Петр. То море, которого только и добивался первоначально Петр, у Ивана было уже во владении. Если бы Россия при Петре была в таких границах, как и при Иване, то Петру не нужно было бы начинать наступательной войны: ему пришлось бы просто начать строить Петербург на русской земле, и если бы то вызвало со стороны завистливых соседей нападение, то война с ними имела бы чисто оборонительный характер. Впрочем, и без того война Петра с Карлом XII поднята за возвращение России ее достояния, не очень давно захваченного. Было ли у Ивана что-нибудь в голове подобное тому, что было у Петра? Думал ли Иван о заведении флота, о введении в государство образовательных начал, о сближении с Европой? Думал ли он об этом хотя настолько различно от Петра, насколько XVI век отличался от XVIII? Наши историки говорят — да; но исторические факты не дают нам ни малейшего права согласиться с этим. Правда, если (как делают некоторые историки) составлять выводы на основании внешних случайных признаков, то можно, пожалуй, натягивать и отыскивать что-то такое, что покажется зачинающимся стремлением к знакомству с Западом и к преобразованию Руси; но такие выводы рассыпятся от одного прикосновения даже слабой исторической критики. Более всего и прежде всего способен соблазнить нас саксонец Шлитт, который в 1547 году хотел привезти в Московское государство полезных иноземцев. Но когда это происходило? Именно в тот период Иванова царствования, когда этот государь находился под влиянием Сильвестра, Адашева и других лиц их кружка, когда, по собственному признанию Ивана, он часто советовал противное тому, что делалось, да его не слушали (аще и благо советующе, сия непотребно им учинихомся); следовательно, если с поручением Шлитту соединить какие-нибудь образовательные цели, то их надобно приписывать не царю Ивану Васильевичу, а тем же самым его советникам, которых ученые историки хотят унижить, возвышая Ивана Васильевича. Но такой единичный факт, как история саксонца Шлитта, не настолько замечателен и важен, чтоб к нему привязывать, как следствия к причине, крупные исторические явления, очевидно, истекавшие прямым путем из иного источника. С одной стороны, самая история Шлитта не была чем-либо новым, до сего времени неслыханным; это собственно было только повторением того, что делалось при деде Ивана Васильевича Грозного, великом московском князе Иване Васильевиче III, когда в Москве отличались: Аристотель, Марко Алевизо, Дебосис, Антон лекарь



и другие, а то, что делалось при Иване III, было продолжением того, что бывало и в прежние времена, при случае, и мы дойдем до построек, совершенных немецкими мастерами во Владимире. По отношению к сближению с Европою, которое было одною из главных сторон петровского преобразования, все такие случаи прибытия в Россию иноземцев, знающих то или другое полезное дело, хотя были до известной степени предварительными явлениями, но не иначе как в своей совокупности, а не в отдельности, потому что каждое из этих явлений не имело само по себе слишком большой важности. С другой стороны, причин войны с Ливониею нельзя искать главным образом в истории саксонца Шлитта и еще менее в каких-то образовательных целях Московского государства. Война царя Ивана Васильевича была непосредственным последствием и возобновлением войны его деда, а последняя имела свой корень в старинной вражде прибалтийских рыцарей с русским миром, вражде, которая наполняет всю историю Пскова и упирается в подвиги Александра Невского. Если нападения царя Ивана Грозного на Ливонию приписывать образовательным целям и за то возводить Ивана в звание сознательного предшественника Петра Великого по делу преобразования России, то в равной степени можно сочинять такие же побуждения и для предшествовавших столкновений русских с прибалтийскими немцами.

Московское государство, основавшись, как из зерна, из Москвы, образовывалось присоединением ближних земель одна за другою и расширялось. Это — характеристическое явление, лежавшее в его натуре. Как оно начало первоначально слагаться, так и продолжало. Ради собственного существования ему приходилось расширяться и забирать земли за землями. Только впоследствии судьба должна была указать, где предел этому расширению. В XVI столетии было много такого, что могло искушать московскую политику забирания. Но от мудрости правительства зависело понять, за что следовало приняться прежде, а с чем надобно было обождать. Ливония рано или поздно попала в власть Московского государства; если бы последнее ее вовсе не трогало, и тогда немцы вызвали бы Москву на предприятия, которые могли бы окончиться завоеванием Ливонии. Уже тогда возрастающая сила Московского государства возбуждала зависть как в Ливонии, так и в Швеции и побуждала к выходкам, показывавшим нерасположение и злобу. Но Москве следовало пока устраняться; черед для Ливонии еще не пришел, как и показали последствия. Мудрые советники царя Ивана находили, что прежде

всего нужно уничтожить хищнические орды или царства, возникшие на развалинах громадной монголо-татарской державы, так как это было необходимо для существования Руси, для ее мирного развития. Своенравный царь, желая перечить своим опекунам, обратился в иную сторону — на Ливонию, поддерживаемый или, скорее, побуждаемый, как говорят современники, иными советниками (кем именно — подлинно не знаем). Но для того, чтоб туда обратиться, не нужно было никакой изобретательности, никаких передовых стремлений, мудрых соображений, высоких политических и образовательных целей. Колея была уже проложена; не следовало только в видах здравой политики пускаться по ней во всю ивановскую. Силвестр и другие советники его кружка противились войне с Ливонией, и неудивительно. Она была преждевременна, а потому несправедлива, и притом велась чересчур варварским способом. Быть может, и даже вероятно, они отнеслись бы сами иначе к этому предприятию в иное время, при иных условиях и обстоятельствах, но в данную минуту они не могли одобрять предприятия. Великое дело овладения Крымом, подчинения татарских племен русской державе, расширения государственной территории на юг требовало сосредоточенности всех сил народа и государства; нельзя было развлекаться в разные стороны; татарский вопрос был важнее всего для Руси; жертвовать им для каких бы то ни было иных целей было невыгодно для нее. Последствия оправдали верность взглядов мудрых советников царя Ивана. Ливония не была покорена, а Москва была разорена, держава истощена, народ подвергся великим бедствиям. Замечательны слова современника, псковского летописца, сказанные по этому поводу: «И сбыться писание глаголющее: еже аще кто чюжого похочет, по мале и своего останет; царь Иван не на велико время чужую землю взем, а по мале и своей не удержа, а люди вдвое погуби».

Если бы у царя были какие-нибудь широкие политические и образовательные цели, он сколько-нибудь выказал бы их в своих письмах к Курбскому, когда он, оправдывая себя, касался вопроса о Ливонской войне. Но мы встречаем у него только такую выходку, которая прилична не мудрому политику, каким его хотят представить, а скорее пришедшему в патриотический задор простолюдину, у которого, однако, горизонт мировоззрения чрезвычайно туманен за пределами его деревни. «Если бы, — пишет царь Иван Курбскому, — не ваше злобесное претыкание было, то бы, за Божию помощь, едва не вся Германия была за православием». Уже этой одной выходки достаточно, чтоб видеть, как широко размахивались мечтания

царя Ивана о своем могуществе и как узко было у него понимание настоящих потребностей своей страны. Не встречая признаков, которые бы показывали в Иване такие высокие побуждения сблизить Россию с Европою, какие навязывают Ивану, перенося их на него с Петра (по обратному смыслу пословицы — не с больной головы на здоровую, а с здоровой на больную), мы и в других его поступках не видим ничего такого, что бы свидетельствовало о чем-нибудь подобном. Он приближал к себе иноземцев? А каких? Бомелия, подававшего ему советы, как мучить людей, и впоследствии достойно поплатившегося за такие услуги? Вообще не только о царе Иване, но о всех деспотических государях в мире следует заметить, что держание около своей особы полезных иноземцев, вроде лекарей, аптекарей, строителей, мастеров и пр., не дает еще нимало права подозревать в них какие-либо образовательные стремления по отношению к управляемой им стране. Такие люди были нужны царям собственно для их частной жизни. Царь Иван находился в сношениях с Англиею. Но чем отзывались эти сношения для народного благосостояния и образования? Заимствовал ли царь для своей страны что-нибудь из того, в чем Англия ушла вперед от России? Известно, что эти сношения не заведены царем; англичане сами начали их, а что касается русских, то последние, сообразно своему глубокому невежеству, дозволяли предприимчивым иноземцам поживляться на счет русской простоты бесцеремонным образом и вести торговые дела так, что они приносили пользы англичанам несравненно более, чем русским. Намерения обратить это появление европейцев в России к делу просвещения своей страны мы не видим и тени у Ивана. Царь относился к этому явлению эгоистически; он был рад, что мог получать предметы для нарядов, роскоши, сластолюбия, каких не было у него в подвластной земле. Вся английская торговля в Москве направлена была главным образом к тому, чтобы служить выгодам царя и двора его. Никто не мог покупать товаров, прежде чем лучшие из них возьмутся для царя; другим смертным дозволялось покупать то, что царю уже не годилось. Да если беломорская торговля и подействовала на дальнейшее движение внутренней жизни и в некоторой степени на умножение благосостояния, то в этом все-таки нельзя считать виновником Ивана, так как вообще не следует ставить в заслугу человеку дела, в котором он участвует, если хорошие последствия возникли мимо его воли, по обстоятельствам, которых он и не предвидел и не старался сознательно им содействовать.

Наш почтенный ученый говорит: «Иоанн Грозный в умственном отношении был одним из самых образованных людей своего времени, близко знакомый с письменностью своей земли, один из лучших писателей своего времени. Блеск, юмор, огромная начитанность, логичность изложения, отличающие все его произведения, редко встречаются даже и у писателей по призванию, а не только у писателей случайных, каковым может быть правитель великого народа. Следовательно, у окружавших Иоанна не было даже и умственного превосходства над ним; мы знаем произведения одного из них — Домострой, образец узкости и мелочности; это произведение того, который считается гением, ангелом-хранителем Грозного, который внушал ему благородные идеи и под влиянием которого он действовал. Книга “Домострой” довольно известна, и нет нужды вдаваться в подробную ее характеристику».

Да, скажем мы, «Домострой» — сочинение известное и приводит нас к иному мнению о нем, совершенно иному. Пусть «Домострой» не изъят от узкости, господствовавшей в том обществе, в котором жил его составитель, все-таки по своим взглядам, по уму и, главное, по сердцу последний безмерно был выше Ивана. Мы видим тут человека благодушного, честного, глубоко нравственного, чистого и доброго семьянина, превосходного хозяина. Царь XVI века, взявши себе за образец «Домострой» и приложив его дух к государственному строению, был бы идеалом своего времени и вполне мог бы стать виновником благосостояния и счастья подвластного народа. Самая характеристическая черта «Домостроя» — это любовь к слабым, низшим, подчиненным и заботливость о них не лицемерная, не риторичная, не педантская, не теоретическая, а простая, сердечная, истинно-христианская. В нескольких местах своего сочинения автор говорит о справедливости к слугам и подчиненным, о попечении о них; видно, что его особенно трогал и занимал этот вопрос. Например, он приказывает хозяйке каждый день самой отведывать пищу, которая готовится для прислуги. Одна эта черта в человеке, бывшем царским ближним советником, возбуждает глубокое к нему уважение. «Как свою душу любить, — поучает он, — так следует кормить слуг и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и спрашивают своих слуг об их нуждах, о еде и питии, об одежде, о всякой потребности, о скудости и недостатке, об обиде и болезни, помышлять о них, пещись сколько Бог поможет, от всей души, все равно, как о своих родных». Не ограничиваясь этим, он приказывает заботиться и об их нравственном и отчасти об умственном развитии.

Такого рода правила, разумеется, внушались царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают те грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых видно желание давать народу как можно более льгот, свободы и средств к благосостоянию. Автор «Домостроя» сознает мерзость рабства, и сам лично уже отрешился от владения рабами; он то же заповедует и сыну. «Я всех своих рабов освободил и наделил, я чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами; а домочадцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирот и убогих мужского и женского пола и рабов в Новгороде и здесь в Москве я воскормил и воспоил до совершенного возраста, и выучил их, кто к чему был способен, многих грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, серебряному мастерству и иным рукоделиям, а некоторых научил торговать разною торговлею. А мать твоя воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу и, наделив, замуж поывыдала, а мужеский пол поженила у добрых людей. И всем тем дал Бог — свободны: многие в священническом и диаконском чине; во дьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе и чем кому Бог благословил быть; те рукодельничают, другие торгуют в лавках, многие ездят для торговли (гостьбу деют) в различных странах со всякими товарами. И Божию милостию, всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей, и людям от нас не бывало никакой тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог, а от кого нам от своих воспитанников бывали досады и убытки — все это мы на себе понесли; никто этого не слышал, а нам Бог все пополнил. И ты, дитя мое, так же поступай: всякую обиду перетерпи — Бог тебе все пополнил! Я не знал никакой женщины, кроме твоей матери; как мы с нею обещались, так я и сдержал свое обещание. И ты, дитя мое, храни законный брак и, кроме жены своей, не знай никого. Берегись пьянственного недуга. От этих двух пороков все зло», и пр. Такие-то советы, без сомнения, подавал Сильвестр царю Ивану. И что же могло быть лучше, если бы царь прилагал эти правила к обращению с подданными и к своей собственной нравственности, от которой зависели или, по крайней мере, с которой тесно были связаны его поступки в области самодержавного правления? По освобождении своем от уз Сильвестрова учения, пьяный, развратный, кровожадный тиран показывал собою во всем противоположность идеалу трезвого, нравственного, дея-

тельного и благодушного государя, идеала, до которого хотел довести его Сильвестр при помощи своих советников.

Но ученые говорят, что идеал Ивана был выше и шире идеала его советников! Этого мало: нас хотят уверить, что «задуманный Грозным план переустройства государства хорошо подходил к общеславянскому всегдашнему плану государственного устройства».

Слово «общеславянское» имеет неопределенное значение общего места, которое можно прилагать к чему угодно. Можно употреблять его и тогда, когда, заглянувши внутрь себя постороже, мы должны будем сознаться, что сами не понимаем того, о чем толкуем. Общеславянский план государственного устройства! Легко сказать! А кто для славян составлял этот план? Кто одобрял его? Какие, в самом деле, данные представляет нам история, по которым мы вправе сказать, что вот такой-то, а не иной какой-нибудь государственный строй более пригоден для всех вообще славян, более любим всеми славянами, более удовлетворяет их характеру, их нравственным и материальным потребностям?

Чтобы определить «общеславянское», нужен гигантский труд, нужно в истории всех славян отделить то, что входило к славянам от других народов, потом исключить то, что составляло историческую принадлежность быта только некоторых из славянских племен и было чуждо другим, и потом уже собрать в совокупность и привести в порядок то, что окажется в равной степени присущим всем вообще славянам. Но такой труд еще никем не совершен, и едва ли результат его в надлежащей степени может быть когда-либо достигнут: своеобразное и повсеместное, национальное и заимствованное так перепутываются между собою, что очень часто нет возможности ясно отделить и обозначить то и другое. В настоящее время выражение «общеславянский план» государственного устройства будет означать не более, как тот план, который автору нравится и который автор, по собственному вкусу, полагает уместным считать пригодным для всех славян. Но, таким образом, каждый будет навязывать на славян все, что ему самому вздумается; разумеется, никто не будет об этом спрашивать, да и спросить их, очевидно, нет возможности: желают ли они такого или иного государственного устройства? Тот, кто будет навязывать славянам свои мечтания, тот же будет и отвечать за них. Разве из этого не выйдут одни мыльные пузыри! С одинаковым правом один будет доказывать, что общеславянское государственное устройство должно быть абсолютная монархия, другой — что федеративная республика. Один будет,

злоупотребляя словом *общеславянство*, усердно кадить той или иной существующей в данное время силе, другой — из тумана общеславянских воззрений показывать ей кулак. Научной правды, плодотворной для жизни, не будет ни здесь, ни там!

Мы не считаем советников царя Ивана, составлявших около него, по выражению Курбского, избранную раду, изъятыми от узкости, свойственной веку, а равно и от личных недостатков. Вообще же главный недостаток у них у всех был тот, что они были слуги, а не граждане и, по всему складу подготовлявшей их предшествовавшей истории Московского государства, не могли быть ничем другим. Все-таки они были полезнейшие и здравомыслящие деятели в своей стране. От своей узкости они пали.

Ставят в заслугу царю Ивану Васильевичу, что он утвердил монархическое начало; но будет гораздо точнее, прямее и справедливее сказать, что он утвердил начало деспотического произвола и рабского бессмысленного страха и терпения. Его идеал состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки поставить выше всего — и общепринятых нравственных понятий, и всяких человеческих чувств, и даже веры, которую он сам исповедовал. И он достиг этого в московской Руси, когда, вместо старых князей и бояр, поднялись около него новые слуги — рой подлых, трусливых, бессердечных и безнравственных угодников произвола, кровожадных лицемеров, автоматов деспотизма: они усердно выметали из Руси все, что в ней было доброго; они давали возможность быстро разрастись и процветать всему, что в ней, в силу прежних условий, накопилось мерзкого. Нам советуют не доверять Курбскому и другим писателям его времени насчет злодеяний Ивана. Не отрицают, впрочем, фактической действительности казней, совершенных им: это было бы чересчур произвольно при собственном сознании тирана. Задают вопрос: «Да не было ли, в самом деле, измены? Точно ли выгодно было московскому боярству не изменять и неужели оно не имело где-нибудь в другом месте своих идеалов?» И на такой вопрос ответ сейчас готов: «Идеалы эти были, и были рядом, в Литве». Бросается подозрение на замученных царем Иваном Васильевичем; они, подобно Курбскому, хотели бежать в Литву; там у них были свои идеалы. Но исключая немногих — неясных — примеров (вроде поступка князей Ростовских), история не представляет никаких, даже слабых, доводов к подкреплению таких произвольных подозрений. Чтобы их рассеять, достаточно указать на то обстоятельство, что те люди, которых Иван перемучил, в период господства Силь-

вестра и его партии не изменяли и не думали бежать ни в Литву, ни куда-нибудь в иную землю. Стало быть, если б и на самом деле у кого-либо из казненных Иваном было намерение последовать примеру Курбского, то это происходило бы не оттого, что у него в Литве были какие-то идеалы, а просто от крайней необходимости спасти свою жизнь, которой угрожала безумная прихоть тирана; и в этом случае вина падает на мучителя, а не на замученных. Мучительства производили бегства, а не бегства и измены возбуждали Ивана к мучительствам. Те доводы, которые приводит Курбский в свое оправдание, имеют характер общечеловеческой правды. Курбский жил в XVI веке, едва ли уместно в XIX судить деятелей прошедшего времени по правилам того крепостничества, по которому каждый, имевший несчастье родиться в каком-нибудь государстве, непременно должен быть привязанным к нему, даже и тогда, когда за все его услуги, оказанные этому государству, он терпит одну несправедливость и должен каждую минуту подвергаться опасности быть безвинно замученным! Неужели нам велят сочувствовать аргументам царя Ивана, писавшего к Курбскому: «Аще праведен еси и благочестив, почто не изволил от меня, строптивного владыки, страдати и венец жизни наследити?» Историк, оправдывающий мучительства Ивана и похваляющий «логичность» в его письменных произведениях, вероятно, не решится сказать, что он сочувствует подобным софизмам Шекспирова Ричарда III, доказывающего вдове убитого им принца, что он оказал убитому благодеяние, отправив его в царство небесное?

Если в личности Курбского можно указать на что-нибудь черное, то никак не на бегство его в Литву, а скорее на участие в войне против своего бывшего отечества; но это происходило именно оттого, что, как мы сказали, московские люди, даже лучшие, были слуги, а не граждане. Курбский был преступен только как гражданин; как слуга — он был совершенно прав, исполняя волю господина, которому добровольно обязался служить и который его, изгнанника, принял и облагодетельствовал. Мы не думаем, чтобы вообще у бежавших в те времена в Литву московских людей были какие-нибудь идеалы в Литве. Им просто становилось почему-нибудь дурно и опасно жить в Московском государстве, и они бежали из него; бежать в Литву им было и ближе, и подручнее, чем в другое государство: и язык, и обычаи там были для них ближе, чем в иной земле, и принимали их там радушно; как люди служилые, они в Литве видели для себя службу, только служба там казалась польготнее, особенно



после того, как почему-нибудь в Москве служба становилась им чресчур тяжела. Точно то же мы должны сказать и о тех, которые, наоборот, из Литвы бежали в Москву: и у этих людей в Москве не было предуготованных идеалов: им дурно становилось в Литве, — вот поэтому только они и бежали в Москву; стесненные обстоятельства их выгоняли из отечества. Прежние господа считали их изменниками, но те, которые их принимали, напротив, находили вполне справедливым, если эти перебежцы, служа новому господину, пойдут войною и на землю прежнего, то есть на свое прежнее отечество. Руководясь русским патриотизмом, конечно, можно клеймить порицанием и ругательствами Курбского, убежавшего из Москвы в Литву и потом, в качестве литовского служилого человека, ходившего войною на московские пределы, но в то же время не находить дурных качеств за теми, которые из Литвы переходили в Москву и по приказанию московских государей ходили войною на своих прежних соотечественников: эти последние *нам* служили, следовательно, хорошо делали! Рассуждая беспристрастно, окажется, что ни тех, ни других не следует обвинять, да и вообще, чтобы вменять человеку измену в тяжкое преступление, надобно прежде требовать, чтоб он был гражданин, чтобы, вследствие политических и общественных условий, в нем было развито и чувство и сознание долга гражданина: без этого он или слуга, или раб. Если он слуга, то что дурного, когда слуга оставляет господина, который не умеет его привязать к себе, и переходит на службу к другому? Если же он раб, то преступления раба против господина могут быть судимы только пред судом того общества, которое допускает рабство, но не пред судом истории, которая, исследуя причины явлений, должна осуждать те неестественные общественные условия, которые производят подобные явления.

Нам говорят: «Во всех вопросах русской истории, с которыми она соприкасается, можно припомнить много такого, что выставляет нам личность царя Ивана совсем в ином свете. Завоевав, например, Ливонию, что делает царь Иван Васильевич? В Ливонии появляется дерптский епископ, появляется юрьевское поместное дворянство. Совсем иначе он действует на Востоке; так, завоевавши Казань, он старается привлечь к себе местное население».

Кроткие меры по отношению к обитателям покоренного Казанского царства, после завоевания Казани, принадлежат к тому периоду царствования Ивана Васильевича, когда он находился под влиянием Сильвестра и людей его кружка, следовательно, по всем соображениям, они истекали от тогдашних действительных прави-

телей государства и свидетельствуют о государственной мудрости и гуманности последних. Что же касается до варварских, жестоких и вероломных мер обращения с покоренною Ливониею, то ученый профессор, которого строки мы привели, не излагает тех своих основных взглядов, которые побуждают его видеть в хорошем свете такие поступки, как намерение устроить юрьевское поместное дворянство, с которым, как известно, соединялось насильственное переселение немцев в московские города и московских людей в ливонские. Поэтому и нам следует воздержаться от спора об этом вопросе, так как мы опасаемся неточно понять то, что станем опровергать, и так как, притом, мы слишком уважаем автора, чтобы по каким-либо недоумениям признавать за ним такие взгляды, от которых он, быть может, отшатнется так же, как и мы. Скажем только, что, каковы бы ни были причины, побуждающие ученых мужей оправдывать, восхвалять и вообще представлять в хорошем свете разные насилия, совершенные историческими деятелями и часто оправдываемые «политическою необходимостью, государственными целями» и т. п., мы все же надеемся, что уже близко то время, когда встретить у историка похвалу насильственным мерам, хотя бы предприняемым или допускаемым с целью объединения и укрепления государства, будет так же дико, как было бы теперь дико услышать с кафедры одобрение инквизиционных пыток и сожжений, совершавшихся не только с высокою целью единства веры, но еще с самою высшею и благою — ради спасения многих душ от адского огня в будущей жизни. В прежние времена были же люди, очень ученые и почтенные, находившие хорошую сторону в таких мерах. Укажем, однако, как смотрели люди XVII века на следствия тех мер государственной политики царя Ивана, которые заслужили одобрение ученых XIX века. Описавши, как погибали русские в Ливонии от голода, мороза и, наконец, от неприятельского меча, умный псковской летописец восклицает: «Исполни грады чужие русскими людьми, а свои пусты сотвори!» Так-то люди простые, неученые, руководствуясь здравым природным умом и добрым сердцем, приходят часто к более правильным и человеческим взглядам, чем ученые люди, ведущие многое и многое!

Напрасно историки наши сиятся опровергнуть основное воззрение Карамзина на личность царя Ивана Васильевича и представить его великим государственным мужем, светлым умом, достойным уважения и сочувствия, предшественником Петра Великого и оправдать его зверские деяния. Принимаем смелость представить

на обсуждение читателей наш взгляд на характер царя Ивана Васильевича, составленный на основании посильного уразумения явлений его государственной и частной жизни.

Личность эта принадлежит к разряду тех нервных натур, которых можно встретить много везде в разных положениях, зависящих от разных условий рождения, жизни, воспитания. Способности их от природы могут быть различны, начиная очень талантливыми и оканчивая очень тупоумными, но при всем различии они все имеют общие признаки. Главное их, общее свойство — чрезвычайная чувствительность к внешним ощущениям и, вследствие этого, быстрая смена впечатлений. Поэтому воля у них обыкновенно слабая; великими деятелями они быть неспособны. Устойчивости у них нет, терпения у них очень мало. Сердечные движения их очень сильны, но лишены глубины, крепости и постоянства чувства. Воображение у них сильнее и рассудка и сердца. Они беспрестанно создают себе образы, увлекаются ими и, при первой возможности, готовы их осуществлять, но легко покидают их, когда являются препятствия или когда другие образы овладевают их душою. Если природа одарит такую личность недюжинным умом, то ум этот не может свободно и спокойно действовать под сильным гнетом ощущений, управляемых воображением, и нередко жизнь таких существ представляет непрерывную и странную смену умных поступков глупыми и наоборот; нередко, однако, последние берут верх над первыми; ум притупляется, привыкая уступать господству воображения и внешних побуждений. Эти личности неспособны к самостоятельности и нуждаются в опеке над собою, хотя обыкновенно не замечают этого; они ненадолго привязываются к тем, которые имеют на них влияние, и вообще они не любят последних; они покоряются, воображая, что никому не покоряются, что действуют по своему усмотрению; когда же они почуют унижительность своей зависимости, то ненавидят тех, которые управляли ими, но, по слабости воли и по трусости, и тут не сразу освобождаются, а только тогда, когда помогает им иное влияние. Они чрезвычайно самолюбивы, потому что чрезмерная чувствительность побуждает их беспрестанно и постоянно обращаться к себе, и в то же время крайняя трусость — их неизбежное свойство, потому что та же чувствительность к впечатлениям опасности слишком охватывает все их существо. С трусостью всегда соединяется подозрительность и недоверчивость. Успех чрезмерно поднимает их; неудача повергает в прах. От этого они высокомерны, самонадеянны в счастье и малодушны, нетерпеливы в не-

счастиях. Эти люди бывают сильно и горячо восприимчивы ко всему доброму, но еще чаще к злу и порокам, потому что для добра на практике всегда окажется необходимо терпение, которого у них не хватает. Чаще всего выходит, что они пленительно добры, возвышенны, благородны на словах и совсем не таковы на деле: слова легче дел, и при известной доле способностей из них вырабатываются превосходные риторы, способные увлекать и привлекать к себе, обольщать собою на некоторое время, пока не откроется, что, кроме красноречия, у них мало достоинств. Хорошее воспитание сдерживает их, способным из них дает возможность сделаться полезными до известной степени, а малоспособных, по крайней мере, делает безвредными нулями; всего более может обуздать и даже отчасти переродить их нужда, но зато многих из них она убивает, и никто так легко и беспомощно не падает под гнетом нужды, как люди этого рода. Чем их воспитание небрежнее, чем существование их безбеднее, тем сильнее развиваются их природные свойства. Горе, если такие личности получают неограниченную власть: возможность осуществлять образы, творимые воображением, вследствие чрезвычайной чувствительности к разным ощущениям, доводит их до всевозможного безумия. Многие тираны, прославленные историей за свою кровожадность и вычурные злодеяния, принадлежали к таким натурам. Таким типическим лицом в истории императорского Рима был Нерон; таким был и наш Иван Васильевич. Он представляет поразительное сходство с Нероном, при всех отличиях, наложенных на судьбу того и другого несходными обстоятельствами и различною средою. Подобно Нерону, Иван был испорчен в детстве; как Нерон, попал под опеку Сенеки и Бурра и под их влиянием показались признаки мудрого и доброго правления, так Иван Васильевич попал под опеку Сильвестра и его кружка и его именем совершенно было немало блестящих и полезных дел; как Нерон, освободившись от опеки своих менторов, так и Иван, удаливши и перемучивши людей, которых прежде во всем слушался, пустились во все тяжкие, не зная пределов своим развратным и кровожадным прихотям. Злодеяния Нерона и Ивана облекались характером вычурности, иногда театральности. Нерон в начале своих злодеяний убил мать; Иван не убивал матери, которой лишился в младенчестве, зато убил сына в конце своих злодеяний. Нерон сжег (как говорят) Рим, а потом мучил невинных христиан, обвиняя их напрасно в поджоге, а себя выставляя праведным судьбою; Иван не жег Москвы: ее сжег Девлет-Гирей страхом своего появления, по безрассудству

и трусости Ивана; зато Иван разорил Новгород и перемучил гораздо более русских христиан, чем Нерон римских, и, подобно последнему, обвинял свои жертвы в небывалых преступлениях, а себя показывал грозным, но праведным судьей. Нерон уехал в Грецию, дурачился там с художествами и науками, а Рим предоставил произволу своих вольноотпущенников; Иван уехал в Александровскую слободу, разыгрывал там комедию монашества, а Русь отдал на волю опричнине. Нерон и Иван были равно жадны и корыстолюбивы, грабили области и не спускали — первый языческим храмам, второй — христианским монастырям. Нерон хвастался, что он один из римских императоров мог довести произвол владыки до крайних пределов; Иван толковал о беспредельности своей царской власти, и неограниченный произвол самовластия был его идеалом, целью его действий и помыслов. Нерон был трус и при конце жизни показал такое малодушие, что не мог нанести себе смертельного удара; Ивану не приходилось спасать себя от опасности испытать то, чему он подвергал других, зато во все свое царствование он многообразно и многократно показывал крайнюю трусость и малодушие. Наш почтенный историограф при оценке характера царя Ивана воздержался от сравнения его с Нероном, заметив, что один был христианин, другой язычник. Правда, Иван каялся и посылал в монастыри поминовения по тем, которых сам убил, но это делалось не потому, чтоб чудовище возненавидело зло и обратилось на путь добра: то было проявление трусости; московский царь боялся Царя небесного и хотел Его умиловать; но бессердечие было одинаково, как у русского, так и у римского тирана, только римский не боялся своих богов; и правду сказать: этим отличием русский тиран делается еще омерзительнее римского. Наконец, Нерон хвастался великими способностями поэта, певца, художника; Иван щеголял риторикою, богословствованием, знанием истории, вообще резонерством. По странному стечению московский царь в этом отношении оказался счастливее римского императора. Нерона, сколько известно, потомство не оценило за его литературные и художественные труды, а московского тирана превозносят теперь за «блеск, юмор, огромную начитанность, логичность исследования и признают одним из лучших писателей своего времени». Зато Сенека оказался счастливее Сильвестра. Воздавая хвалу Ивану и противопоставляя его литературным произведениям творения Сильвестра, как «образчик» узкости и мелочности, упускают из виду то обстоятельство, что если Иван, которого воспитание в детстве оставлено было в крайнем не-

брежени, от кого-либо набрался каких-нибудь сведений и науки писательства, то скорее всего от того же Сильвестра.

Рассмотрим же литературные произведения московского Нерона; увидим из них, как и насколько выказал он нам свой талант, душу, вердце, понятие и нрав.

Вот перед нами письмо царя Ивана к Курбскому — широковещательное и многошумящее послание, как назвал его Курбский. Оно заключает в печати целых восемьдесят шесть страниц in 8<sup>o</sup>, составляя ответ на письмо Курбского, которое могло уместиться на каких-нибудь семи с половиною страницах того же формата. Самый факт существования такого ответа очень знаменателен и поясняет многое в личности Ивана. Если бы царь был прав в своих поступках, как хотят изобразить его историки, никогда бы не решился он оправдываться перед виновным; если бы он руководился умом, а не мелочным самолюбием, ни за что бы он не отвечал Курбскому. С какою целью писано это письмо и чего добивался царь от Курбского? Неужели он хотел, ему нужно было, и он надеялся убедить Курбского признать царя во всем правым, а себя и всех опальных и замученных виновными? Но если бы у Ивана была такая цель, мы бы должны были признать за ним умственный уровень еще ниже того, какой признаем теперь на основании его поступков и слов. Или уж не хотел ли Иван склонить Курбского воротиться? Но этого намерения и в письме Ивана не видно. Побуждение Курбского, решившегося писать к своему бывшему государю, понятно и естественно. Изгнаннику хотелось излить тирану все, что накопилось у него на сердце, чего он не смел прежде высказать. Тут было своего рода мщение за себя и за других: отрадно было заставить тирана поневоле выслушать правду, которая иным путем до него не достигла бы никогда. Но со стороны царя Ивана Васильевича не могло быть иного побуждения к написанию такого длинного письма, кроме безрассудного нервного самолюбия, уязвленного голосом правды, кроме мелкой, бессильной злобы, подстрекавшей его. Ивану нельзя было ничего уже сделать Курбскому: ему в воображении рисовались истязания, муки, страдания, которым бы хотелось подвергнуть дерзкого раба, переставшего быть и называться его рабом — а исполнить этого не было возможности. Излить свою досаду потоком слов, а иногда и слез, при невозможности проявить ее делом — самый обыкновенный прием у таких натур, к которым принадлежал царь Иван Васильевич. И вот, в порыве раздражения, забывая свое достоинство, тиран посылает длинное письмо Курбскому: здесь площадные ругательства перемешаны с дикими,

уродливыми софизмами; они подкрепляются то некстати выхваченными примерами из сокровищницы тогдашней учености, то явным искажением истины фактов из современной жизни. Курбский достойно оценил это письмо, заметив, что оно совсем неприлично царю, походит на «басни неистовых баб, и не следовало было посылать его в такую страну, где есть много людей, искусных в грамматических, риторических, диалектических и философских учениях».

Главная мысль царского письма состоит в изложении учения о безмерном величии царской власти; это апофеоз не только самодержавия, но безграничного произвола.

Курбский ушел от царя, Курбский, изгнанник, упрекает царя в неправосудии, жестокостях, неистовствах. Что отвечает на это царь? Он ставит Курбскому в вину, что Курбский не претерпел мучений от царя для получения небесного царства, не исполнил долга, предписывающего рабам повиноваться господам. Царь ставит ему в пример доблесть раба самого Курбского, Васьки Шибанова, который, стоя у смертных врат перед царем и перед всем народом, не отвергся от своего господина. Что может быть возмутительнее этого? Изверг, сам замучив несчастного Ваську Шибанова, восхищается его доблестью и ставит его в пример\*.

Царь может делать все, что захочет, и никто не должен судить его поступков; эту основную мысль письма Иван Васильевич подкрепляет множеством мест и примеров из Священного Писания, святых отцов, византийской истории. Способ этого подкрепления таков, что не только не оправдывает взглядов тех ученых мужей, которые признают Ивана одним из лучших писателей своего времени, а, напротив, свидетельствует о его ограниченности, тупоумии и невежестве.

Считая сам себя правым, Иван, однако, сознается, что есть и за ним кое-какие согрешения, но они произошли от измены тех бояр, к кругу которых принадлежал Курбский. Курбский укоряет царя Ивана в жестокостях; за это Иван обвиняет Курбского в ереси: нет человека без греха, а Курбский, обвиняя Ивана в грехах, стало быть, требует, чтобы человек был безгрешен, хочет поставить человека вровень с ангелами! Уж не это ли юмор, который находят в сочинениях царя Ивана? По нашему взгляду, трудно выдумать остроу,

---

\* Возмутительным казался поступок самого Курбского, решившегося послать верного слугу на явную погибель, но в летописи, означенной Карамзиным именем Александроневской, о Ваське Шибанове говорится, что он способствовал бегству Курбского, а сам был схвачен; следовательно, вовсе не послан в Москву с письмом своего господина, как обыкновенно полагали.

более тупую и плоскую. В другом месте царского письма <...>, запрещая Курбскому порицать свои поступки, Иван приводит из книги «О старчестве» монашескую легенду о том, как некий старец, «егда возстена о некоем брате, живущем во всяком небрежении и в пьянстве и в блуде», видел видение, которое вразумило его, что он грешит, присваивая себе суд, принадлежащий Богу. Но что, быть может, имело смысл в мире отшельников, то совсем не годилось в мире общественном, потому что, если приложить это правило вообще к нравственности, то значило бы оставить полную возможность дурным людям делать какое угодно зло. Очевидно, пример приведен вовсе некстати. Так же точно нельзя было заграждать Курбскому право указать Ивану на его худые дела словами св. Григория, упрекающего юношу, который хочет поучать старика. Пример этот совсем не идет к делу, о котором велась речь. Ни по летам, ни по умственному авторитету Иван не имел подобного права. Обвиняя Курбского за бегство, Иван хотел поразить его примерами из Ветхого Завета, но выбрал их неудачно. Допустим, что история Авенира (с. 26) имеет еще какое-то отдаленное подобие; но что общего между Курбским, ради спасения жизни убежавшим в чужую землю, и Иеровоамом, который отторгнулся от Иерусалима и основал особое царство Самарийское? Во-первых, покушение Иеровоама на отторжение провинций от власти Давидова дома не могло, по смыслу повествования в самой Библии, толковаться как дело, неугодное Богу и преступное, так как сам Господь, еще при Соломоне, изрек свою волю Иеровоаму чрез пророка Ахию, состоящую в том, что за грехи Соломона значительная часть его владений должна быть отнята от его потомства и передана Иеровоаму, которого, таким образом, по библейскому смыслу, сам Бог избрал своим орудием, и если впоследствии Иеровоам навлек на себя Божий гнев идолопоклонничеством, то все-таки в деле отпадения от иерусалимского престола он не может подвергаться обвинению и этот его поступок не может служить подобием такому поступку, который, опираясь на Св. Писание, желают представить в дурном свете. Во-вторых, бессмысленно и противно Св. Писанию приписывать падение царства Самарийского означенному поступку Иеровоама и связывать с этим поступком отступление самарийских царей от Бога и поклонение золотому тельцу, так как подобное идолопоклонство происходило и в Иудейском царстве, да и последнее так же точно погибло, как и Самарийское, только несколько позже. Иван говорил: «Смятеса царство в Самарии и отступи от Бога и поклонися тельцу, и како оубо смятеса



царство Самарии тое неудержанием царей и вскоре погиге; Июдино же аще и мало бысть, но странно и пребысть до изволения Божия». Но царство Израильское погигло совсем не вскоре, а просуществовало 253 года, а царство Иудейское хотя продержалось до 604 г. до Р. Х. и даже (если считать отведение в плен Седекии его концом) до 585-го, то все-таки погигло тем же способом, как Самарийское: и о царстве Израильском, как и о царстве Иудейском, одинаковым образом можно сказать, что оно погигло по изволению Божию. Наконец, выставляя Курбскому на вид, как пример, историю Иероваама, тиран в той же истории мог с большим смыслом увидеть собственное свое подобие в Ровоаме, который не послушался ни Иероваама, ни умных советников, не хотел облегчить повинностей, лежавших на народе, а еще поругался над народным горем (ныне отец мой наложи на вы ярем тяжек, аз же приложу к ярму вашему: отец мой наказа вы ранами, аз же накажу вы скорпионами. Царств II, гл. 12, ст. 11). Распадение государства было достойным последствием такой тиранской выходки. Мы позволили себе распространиться об этом именно с тою целью, чтоб показать, как нелогично, как некстати пользовался Иван теми источниками знания и размышления, какие были у него под рукою.

Горькое воспоминание о том, как он некогда слушался советов Сильвестра и его партии (следовательно, по его выводам, не был самодержавным государем), тяжело лежало у него на сердце. Он постоянно чувствовал, что был унижен. Понятно, что самолюбие его уязвлено было паче всего тем, что, по собственным словам его (с. 94), «поп Сильвестр и Алексей», считая его «неразумна суца или разумом младенчествующа», прельстили его «лукавым советом» и держали под своим влиянием, пугая «детскими страшилы». Теперь он пришел к такому убеждению, что слушаться советов умных людей для царя унижительно: это значило — дозволить рабам владеть царем. И по этому поводу оказалось нужным блеснуть перед Курбским ученостью и мудростью. Иван сыплет текстами и примерами. Но как? В высшей степени невпопад. Ни к селу ни к городу, как говорится, приводит он место из пророка Исаии: Людие, что аще уязвляетея и пр. <...>, тогда как в этом месте Ветхого Завета описывается вообще наказание, грозящее Израилю за его беззакония, без всякого отношения к тому, для чего привел его Иван. Далее в своем письме (с. 39) Иван указывает на разные смуты, бедствия, на ослабление и падение Восточной Римской империи. (Это место не дает нам права признавать за Иваном «огромную» начи-

танность; он мог все эти знания перевести на письмо к Курбскому из любого хронографа.) Московский царь из чтения истории вывел себе такое уродливое заключение, что погибель империи произошла все от того, что цари ее были послушны «епархам и сигклитам». Вот образчик того, как понимал ум Ивана Васильевича то, что ему приходилось читать!

Изложение прошедших событий царствования у Ивана в письме любопытно: оно преисполнено умышленных неверностей. Прежде всего нас поражает простодушное сознание в своей трусости. Вспоминая о казанском походе, он говорит: «Каково доброхотство ко мне этих людей, которых ты называешь мучениками? Они меня, как пленника, посадили в судно и повезли с немногими людьми сквозь безбожную и неверную землю; если бы не всемогущая десница Всевышнего защитила мое смирение, то я бы и жизни лишился». Таким образом, мы ясно видим, что важнейшее из дел царствования Ивана не принадлежало ему: он сам играл здесь жалкую, глупую, комическую роль; таким он и сам себя выставляет, нисколько не понимая, как видно, того положения, в каком он является перед глазами тех, кто станет читать его письмо. Вместе с тем здесь же он прилгнул, говоря, будто его везли с немногими людьми (с малейшими), тогда как известно, что он отправлялся в поход с сильным войском.

Выставляя свою страдательную роль в казанском деле, жалуясь на бояр, которые его насильно тащили в поход и подвергали опасностям, через несколько страниц в том же своем письме Иван забывает то, что сам говорил, и пишет <...> уже совсем противное: как будто казанское дело было ведено самим им, вопреки советникам, как будто он, царь, побуждал своих воевод идти на войну под Казань, а они, воеводы, упрямылись, дурно исполняли его поручения и не хотели с ним идти под Казань. «Когда мы, — пишет царь, — начало восприняли, с Божиею помощью, воевать с варварами, тогда послали прежде князя Симеона Микулинского с товарищи. А вы что тогда говорили? Что мы как будто в опалу их послали! Сколько ни было походов на Казанскую землю, когда вы ходили без понуждения, с желанием? Когда же Бог явил нам свое милосердие и покорил христианству этот варварский народ, вы и тогда не хотели с нами воевать против варваров и с нами, по причине нашего нехотения, не было более пятнадцати тысяч?» Здесь прямое противоречие тому, что мы читали в одном и том же письме царя Ивана выше. Чему же верить? Где-нибудь да Иван лжет. Но в первом месте Иван представляет сам себя простаком, трусом, которого, пользуясь его царским саном,

умные люди, для видов государственной пользы, везут почти насильно туда, где ему страшно; во втором месте Иван выставляет себя мудрым правителем, героем и обвиняет в трусости и неспособности своих советников и воевод. Но всегда (кроме исключительных случаев, когда человеку нужно бывает наклепать на себя, что редко бывает, особенно при здравом уме) лгун сочиняет о себе небылицы с целью выставить себя в хорошем свете: это согласно с человеческими слабостями. Уже по этому одному, мимо всяких иных соображений, мы признаем ложью последнее, а не первое место Иванова письма. Рассмотрев обстоятельства событий, о которых здесь идет речь, мы еще более убеждаемся в справедливости нашего взгляда. Из всех исторических свидетельств того времени мы узнаем, что князь Симеон Микулинский, о котором так презрительно отзывается царь Иван, вместе с другими воеводами подготовил взятие Казани, да и сам царь Иван Васильевич, следуя с войском под Казань и прибыв в Свияжск, изъявлял ему благодарность <...>. Что же касается до того, будто, по нерадению воевод, с царем под Казанью не было более пятнадцати тысяч, то это вопиющая неправда. У морозовского летописца число всего войска, бывшего под Казанью, показано в 150 000 человек.

Если бы нужно было допустить, что число это преувеличено, как действительно бывает в наших летописях, то уж, конечно, не пришлось бы его сокращать в десять раз. Пятнадцатую тысячами невозможно было осадить Казани. О числе бывшего под Казанью войска можно судить из описания взятия Казани в истории, составленной Курбским. Он повествует, что по прибытии под Казань полк правой руки, в котором находился и автор повествования, послан был за реку Казанку: в нем было более (въяще) двенадцати тысяч, а потом он прибавляет: «...и пеших и стрелков аки шесть тысящей». В этом месте для нас не совсем ясно: следует ли причислять эти шесть тысяч к числу «более двенадцати тысяч» или считать их особо? Судя по способу описания, в подобных случаях, когда пешие считаются отдельно от конных, которые всегда здесь ставятся прежде, можно с большою вероятностью полагать, что под двенадцатую тысячами разумеются конные, и, быть может, здесь пропущено слово «конников», но мы не решаемся опираться на такие очень смелые толкования. Уступим заранее тем, которые бы упорно хотели число двенадцать тысяч считать итогом, тем более что для нашей цели разница не окажется очень важною. Затем, по отрезании от войска этого отряда в 18 000 (а может быть, только в 12 000), царь <...> повелел все свое войско разделить надвое: половину его

оставил под городом при орудиях, немалую часть оставил при шатрах стеречь свое здравие, а тридцать тысяч конных, устроив их и разделив на полки по чину рыцарскому, и поставив над каждым полком по два и по три начальника, также и пеших около пятнадцати тысяч, вывел стрельцов и Козаков и разделил их на строевые отделы (гуфы) по воинскому порядку, поставил над ними главным начальствующим князя суздальского Александра, по прозванию Горбатого, и велел ждать за горами, а когда басурманы, по своему обычаю, выйдут из лесов, то сразиться с ними.

Таким образом, Курбский указывает, что, за исключением полка правой руки, половина всего разделенного надвое войска составляла около сорока пяти тысяч; но, кроме двух таких половин, царь оставил немалую часть для охранения своей особы. На с. 39-й того же издания сочинений Курбского мы находим приблизительное число войска, оставшегося и около царя у шатров. Там указывается, что в царском полку было «вяще, нежели двадцать тысящей воинов избранных». Следовательно, по известиям Курбского выходит, что все войско, бывшее под Казанью, простиралось от 120 000 до 130 000 человек. Разница между Курбским и морозовским летописцем тысяч на двадцать или на тридцать — не более, но как Курбский указывает свои числа только приблизительно и притом два раза говорит вяще (более), то очень возможно, что между Курбским и морозовским летописцем разницу следует считать еще менее.

Таким образом, здесь Иван является лжецом наглым и до крайности бесстыдным: он лжет перед тем, кто ни в каком случае не может ему поверить, зная хорошо сам все обстоятельства. Понятно, что при такой явной лжи мы не можем считать ничем другим его упреков, встречаемых в том же письме, будто бы после взятия Казани воеводы торопились скорее воротиться домой, тогда как Курбский в своей истории рассказывает, что мудрые и разумные советовали ему пробыть под Казанью всю зиму с войском, чтобы «до конца выгубить воинство басурманское и царство оное себе покорить и усмирить землю навеки; но царь послушал совета своих шурьев, которые шептали ему, чтоб он спешил к царице, и направили на него других ласкателей с попами».

Из двух совершенно противоречивых известий об одном и том же — Ивана и Курбского, мы на основании исторической критики предпочитаем последнее. Обстоятельства, известные нам из других свидетельств, подтверждают Курбского. Не воеводы бросали войско, а сам государь прежде всех оставил его и побежал, можно сказать,

опрометью. Поплывши из Казани и только переночевавши в Сви-  
яжске, царь без остановки плыл до Нижнего, там распустил вой-  
ско и побежал на лошадях домой. Оба шурина были с ним; это под-  
тверждает известие Курбского о том, что шурья побуждали царя  
спешить к царице. В то время Ивану действительно был повод к это-  
му бегству. Царица Анастасия была в последних днях беременно-  
сти; любивший ее царь, естественно, беспокоился за нее: поэтому-то  
он спешил ехать до Владимира, а там известил его боярин Трахо-  
ниот, что Анастасия разрешилась от бремени благополучно, и царь  
с этих пор ехал уже не торопясь, но заезжал к разным святым местам  
для поклонения. В письме к Курбскому Иван не признает никакого  
достоинства, никаких заслуг за боярами и воеводами своими в ка-  
занском деле: «Ни единые похвалы, аще истинно рещи достойно  
есть, понеже вси яко раби с понуждением сотворили есте, а не хоте-  
нием, а паче с роптанием». Но если они были недостойны похвалы,  
зачем же сам Иван благодарил их и жаловал в свое время? Не у Курб-  
ского, а в других источниках <...> мы встречаем такую речь царя  
Ивана к военачальникам, бывшим при взятии Казани: «О, муже-  
ственный мои воины, бояре и воеводы, и вси прочии страдателии  
знаменитии имене ради Божии и за свое отечество и за нас! Никто  
же толикую показа в нышешних временех храбрость и победу якоже  
вы любимии мною. Вторые есте македоняне, и наследователи есте  
храбрости прародителей ваших, показавших пресветлую победу  
с великим князем Дмитрием за Доном над Мамаем. За которое ваше  
преславное мужество достойны есте не точию от мене благодарения,  
но и от Божией десницы воздаяния» и пр.

Допустим, что это более летописная риторика, чем правда, что  
царь Иван Васильевич говорил не так (хотя он, несомненно, любил  
ораторствовать, и вышеприведенная речь совершенно в его стиле);  
но вот другой летописец <...> описывает, как царь Иван, возвра-  
тившись в Москву, пировал три дня, дарил и жаловал бояр, воевод  
и детей боярских. За что же он их дарил и жаловал, когда они не-  
достойны были никакой похвалы? Ложь царя Ивана Васильевича  
о других событиях своего царствования, допущенная им в его пись-  
ме к Курбскому, обличена уже Устряловым в примечаниях к его  
изданию «Сказаний князя Курбского». Таким образом (с. 92), царь  
пишет в этом письме: «Мы послали тебя в нашу отчину Казань при-  
вести в послушание непослушных; ты же, вместо виновных, привел  
к нам невинных, напрасно на них наговаривая, а тем, против кого  
мы тебя послали, не сделал никакого зла». Здесь припоминает-

ся поручение, данное некогда царем Иваном Курбскому, усмирить волнение в Казанской земле (1553–1555 гг.). Но, по справедливому замечанию Устрялова, царь не мог быть недоволен действиями Курбского, когда после того пожаловал его боярином. То же оказывается и по другому поводу. Царь укоряет Курбского, что когда он послан был против крымцев под Тулу, то ничего не сделал и только ел да пил у тульского воеводы Темкина, и потом прибавляет: «Аще убо вы и раны многие претерпесте, но победы никоея же сотвористе» <...>. По сопоставлении царских слов с Царственною Книгою оказывается, что действительно сам хан убежал из-под Тулы еще до прихода воевод, однако эти воеводы не бездействовали, а погнались за ханом, поразили его, отняли у него пленников и обоз, и царь сам после того жаловал воевод за эту службу. Сам царь, в письме к Курбскому, говоря, что в то время воеводы пировали у Темкина и ничего не сделали, упоминает, однако, о ранах, которые они претерпели. Но ни Курбский, ни его товарищи не могли претерпеть ран иначе как в бою. «Уже сии раны свидетельствуют, что Курбский думал тогда не о пирах, а о битвах», — справедливо замечает Устрялов. Еще лживее, несправедливее и бесстыднее является Иван Васильевич там, где в своем письме касается ливонского дела. «Когда мы, — говорит он, — посылали вас на германские грады, семь посланий писали мы к боярину князю Петру Ив. Шуйскому и к тебе; вы же едва пошли с немногими людьми и по нашему многому приказанию взяли пятнадцать городов. Но вы взяли их по нашему напominанию, а не по своему разуму» <...>. Но, во-первых, если воеводы взяли столько городов, сами будучи с немногими людьми, то тем самым заслуживают более чести и славы; во-вторых, как мог царь ставить им в вину то, что они хорошо исполняли приказание царское? Царь не мог простить им того, что, будучи сторонниками Сильвестра, они не считали полезным делом начинать войны с Ливониею. Но если они, как советники, по своему убеждению были несогласны с тем, что нравилось царю, а как верные слуги и покорные исполнители воли верховной власти с успехом делали то, что угодно было этой власти, то не должна ли была эта власть тем более ценить их заслуги? Тиран этого не понимал и не чувствовал. Он помнил только одно — и теперь попрекает Курбскому: «От попа Селивестра и от Алексея и от вас я потерпел много словесных отягчений; если мне делалось что-нибудь скорбное, вы все говорили, что это случилось ради германов». В другом месте своего письма Иван Васильевич <...> упрекает Курбского и прочих бояр и воевод, что если бы не их

злобесное претыкание, то вся бы Германия была за православием, и что они воздвигли на православие литовский и готфский язык и других. (Тоже оттоле литовский и готфский язык и иные множайшие воздвигосте на православие.) Таким образом, по воззрению Ивана Васильевича, его бояре и воеводы помешали ему подчинить православию всю Германию и подняли на православную Русь Литву и Швецию: если царь принужден был вести войну с этими государствами, то виною этому его бояре и воеводы. Не знаешь, чему более изумляться: безумию ли и невежеству тирана и его бессовестности или же тем историкам, которые, слыша от самого Ивана такого рода обвинения, приходят в раздумье и задают вопрос: да не были ли, в самом деле, изменниками те, которых Иван казнил и мучил? Но если допустить веру словам этого чудовища, которое лжет на каждом слове, то почему же не разделить его мнения о том, что если бы не коварные изменники, то Россия подчинила бы всю Германию православию, и что Литву и Швецию подвинули на московского государя и с ним на православие все те же изменники.

Второе письмо царя Ивана, всего на шести страницах, отлично от первого по тону, хотя одинаково с ним по духу. Царь не ругается собакою, как в первом, начинает смирением, называет себя беззаконным, блудником, мучителем, но это не более как молитвословная риторика; тут же он хвалится своими победами в Ливонии, потому что пишет из завоеванного Вольмара. Опять, как в первом письме, вспоминает он прошлое и обвиняет Сильвестра, Адашева и советников их партии, приводя некоторые события, о которых прежде не говорил. Та же ложь, что и в первом письме, пробивается и здесь. О некоторых намеках мы не можем ничего сказать, как, напр., о дочерях князя Курлятева, о покупке узорочьев для них, о каком-то суде Сицкого с Прозоровским, о каких-то полторастах четях, которые, как говорит царь, были боярам дороже его сына Феодора, о какой-то стрельцкой жене. Курбский в ответе своем на это письмо, опровергая другие обвинения, об этих отозвался непониманием, заметив только, что все это смеху достойно и пьяных баб басни. Грозный жалуется, что его разлучили с женою Анастасиею, и прибавляет, что если б у него не отняли «юницы», то не было бы «кроновой жертвы». Курбский превосходно отвечал ему, что предки его не привыкли есть, подобно московским князьям, своего тела и пить крови своей братьи.

Обвинение в отравлении Анастасии, конечно, не имеет никакого основания; если были недовольны бояре, то собственно не ею, а ее братьями. Курбский действительно отзывается о них неблагоприятно.

но, и потому, если бы в самом деле бояре покусились на злодеяние, то жертвою его были бы шурия царицы, а не царица, которую, напротив, многие любили. Другое обвинение бояр в намерении возвести на престол двоюродного брата царского, Владимира Андреевича, имеет некоторое основание, но перепутывается недоразумениями и явною ложью. Иван Васильевич говорит, будто дяди *ваши* (т. е. бояр) и господа уморили отца его в тюрьме и держали его самого, Владимира, с матерью в тюрьме, а он, царь, их освободил. Но уморила в тюрьме князя Андрея Ивановича мать царя Елена, а освободили его вдову и сына из заключения бояре после смерти Елены, а не царь Иван. Он указывает на то, будто хотели посадить на престол Владимира, а его, Ивана, с детьми извести. Но не видно ничего подобного такому злодейскому намерению. Известное приключение во время болезни Ивана еще в 1553 году очень темно. Действительно, ввиду ожидаемой кончины царя некоторые боялись, чтобы при малолетстве его сына не захватили власти Захарьины, царские шурия, но трудно решить, кто именно и до какой степени готовы были действительно лишить престолонаследия сына Иванова и возвести Владимира. Сам Курбский за себя ответил на это обвинение Ивану, что он никогда не думал возводить на царство Владимира, потому что считал его недостойным.

Странно, во всяком случае, что царь после своей болезни долго не выказывал злобы на то, что происходило между боярами во время его недуга; люди, которых он после обвинял по поводу этого события, долгое время были к нему близки. Чем объяснить это? Нам кажется, тем, что означенное событие уже впоследствии раздули в воображении царя новые его любимцы, заступившие место Сильвестра, Адашева и их друзей. У натур, подобных царю Ивану Васильевичу, нередко давние огорчения возрастают в позднейшее время, когда что-нибудь извне возбуждает о них воспоминания. Письмо царя к Курбскому вообще поясняет, что все неистовства тирана происходили оттого, что он никак не мог забыть своего унижения, которое он перенес в то время, когда допустил руководить и собою и всеми делами государства Сильвестру, Адашеву и их благоприятелям. «Вы, — пишет он, — хотели с попом Сильвестром и с Алексеем Адашевым и со всеми своими семьями под ногами своими видеть всю Русь; вы не только не хотели мне быть послушны, но всю власть с меня сняли, сами государили как хотели, я только словом был государь, а на деле ничем не владел». Курбский не отрицает справедливости смысла этих слов! «Ласкатели твои, — пишет он, — клеветали на одного пресвитера, что он утрашал тебя не истинными,



но льстивыми видениями. Воистину, скажу я, был он льстец, коварный, но благокозненный; он тебя исторгнул от сетей дьявольских и от челюстей мысленного льва и привел было тебя к Христу Богу нашему. Умные врачи поступают подобно ему, когда вырезавают бритвами дикое мясо и неудобоисцелимые гангрены, а потом восстанавливают и исцеляют недужных; так и он творил — пресвитер блаженный Сильвестр, видя твои душевные недуги, застарелые и неудобные к исцелению!»

Под каким углом зрения ни смотрели бы на эту переписку, для нас второе письмо царя Ивана к Курбскому служит подтверждением того убеждения, что царь этот обладал недалеким умом, или по крайней мере умственные способности его были подавлены чересчур воображением и необузданными порывами истерического самолюбия. Царь, у которого неограниченность власти была пунктом мысленного вращения, сам не замечает и не понимает, как он своими письмами унижал себя, как становился и страшен, и жалок, и мерзок, и смешон. В ответ на второе письмо Курбский заявил ему полное презрение. «Что ты, — пишет царю изгнанник, — исповедуешь предо мною грехи свои, как перед священником; я простой человек, воин. Оно было бы чему порадоваться, не только мне, бывшему твоему рабу, но всем царям и народам христианским, если бы твое покаяние было истинное; но в твоей эписистолии выказывается несовместимая с этим неблагочинная походка внутреннего человека, хромящего на оба бедра, изумительно и странно, особенно в землях твоих супостатов, потому что здесь много людей, сведущих не только во внешней философии, но и в Священном Писании, а ты — то чересчур уничижаешься, то выше всякой меры превозносишься!» Намекая на разорение Москвы татарами, Курбский выражается в таком презрительном тоне: «Собравшись со всем твоим воинством, как хороняка и бегун, ты трепещешь и исчезаешь, когда тебя никто не гонит. Только совесть твоя кричит внутри тебя, обличая тебя за твои дела и бесчисленные убийства». В довершение презрения Курбский запрещает Ивану писать к себе: «Не пиши, прошу тебя, к чужим слугам, где умеют отвечать тебе так, что сбудется на тебе сказанное одним мудрецом: говорить хочешь, зато услышишь то, чего не хочешь!»

Послание царя Ивана Васильевича в Кирилло-Белозерский монастырь драгоценно и замечательно, как образчик лицемерства, ханжества, самообольщения — всего, что в продолжение многих веков плодило у нас искаженное, превратно понятое христианство, легко успокаивавшее нечистую совесть риторикою богомыслия

и внешними проявлениями благочестия и смирения, не искореняя в человеке дурных наклонностей, не возбуждая в нем подвигов добра, вместо прежних мерзких дел, а только прибавляя ко всем порокам еще один, тот, который божественный Основатель нашей религии наиболее громил в лице фарисеев во время своей земной жизни. И если где, то именно в этом послании царь Иван кажется нам мерзее своего языческого двойника — Нерона. Монастырское благочестие, с его философией, легендарною историею и приемами аскетической практики, для царя Ивана было такою же забавою воображения, как для Нерона антическое художество. Иван входил в роль кающегося грешника, смиренного отшельника, сурового умертвителя собственной плоти и тешился этою ролью, как Нерон ролью артиста. Неудивительно, что в послании Ивана можно признать известную начитанность по этой части, когда такого рода увлечение доставляло ему удовольствие. Мечтание вступить в монахи давно уже не покидало царя Ивана; оно поддерживалось в нем его злодеяниями и бесчинствами. Как только в нем пробуждалась совесть, или, лучше сказать, страх наказания на том свете, так тотчас являлся в его воображении успокоительный образ покаяния; ему представлялось, как он удалится от мира, запрется в Кирилло-Белозерском монастыре, будет ходить в волосянице, изнурять свою плоть сухоядением, набивать себе шишки и мозоли поклонами, смирять свою гордыню метаниями пред игуменом, направлять свои помышления к Небу непрерывным произнесением Иисусовой молитвы и омыwać свои прегрешения слезными токами; он предавался такого рода представлениям, и ему становилось на душе легче; он читал тогда назидательные поучения о мнишеском равноангельском житии, повествования о подвигоположничестве отшельников и воображал себе, как он последует их примеру. Так он упивался своим будущим очищением и примирением с Богом, пока житейские ощущения не извлекали его из блаженного самообольщения и не увлекали к делам разврата, гордыни и зверства. И вот в те минуты, когда царь Иван, напившись человеческой крови, притекал к тихому пристанищу покаяния и благомыслия, написал он свое знаменитое «суесловие», как сам он, побуждаемый фальшивым смирением, очень верно назвал свое послание в Кирилло-Белозерский монастырь.

Трудно прибрать более резких ругательных эпитетов, какими угощает себя Иван, обвиняя в тяжких грехах. Он грешный, скверный, нечистый, мерзкий, душегубец, пес смердящий, всегда в пьянстве,

блуде, прелюбодействе, в убийстве, в граблении, хищении, ненависти, во всяком зле. Но это не более как обычные выражения, которые обильно можно найти в разных молитвах, особенно в последовании ко св. причащению; это для многих, если можно так выразиться, покаянный циркуляр, в котором один может увидеть для себя то, другой иное. Царь Иван, без преувеличения, мог применить к себе все грехи, какие только мог вычитать, но если бы он их и половины не сделал, то, по благочестивому смирению, все равно должен был их перечислить и так же точно называть себя всякого рода бранными эпитетами. Но вот где гнусное лицемерство: царь Иван считает себя недостойным, как бы не вправе вступаться с своею царственною властью в дела духовные: «Как лучше, так и делайте; сами ведаете, как себе хотите, а мне до того ни до чего дела нет». Если он решался давать советы и напоминать инокам о благочестии и правильном соблюдении монашеского жития, то это он делает только потому, что к нему обратились, что его просят об этом; только поэтому он и согласился вмешиваться в церковные и монастырския дела. Так смиренничает пред достоинством Церкви человек, умертвивший псково-печерского игумена Корнилия, задушивший добродетельного митрополита Филиппа, перебивший и перемучивший монахов в Новгороде, грабивший монастыри, облитые свежепролитую кровью своих обитателей, затравивший собаками Леонида! Сначала в его послании крайнее самоуничижение, но под конец невольно чувствуется близкое пробуждение обычного зверства, на время усыпленного монашьем. «Нам к вам писати больши невозможно, да и писать нечего: се уже конец моих словес к вам. А вперед бы есте о Шереметеве и о иных таких безлепицах нам не докучали». За исключением приступа, преисполненнаго фраз о собственном достоинстве, все послание загромождено выписками из сочинений Иларiona Великого в похвалу мнишеского жития, в назидание постничества и умерщвления плоти, а ближайший интерес письма сосредоточивается на личности Шереметева и отчасти Собакина и Хабарова, по поводу послаблений и снисхождения, оказываемого в монастыре лицам знатного происхождения, принявшим пострижение. Шереметев — старец Иона — стоит царю Ивану бельмом в глазу. Царь Иван ужасно недоволен, что этот бывший боярин, постригшись, пользуется возможностью жить с бoльшим удобством, чем прочие монахи. По этому-то поводу царь прописывает игумену с братиею поучения о монашеском воздержании и о равенстве между братиею, поучения, правда, согласные с духом иночества в его идеальном значении, но нечистый источник

потребности делать эти наставления чересчур виден. Царь злится на Шереметевых вообще: этот боярский род ему ненавистен. Он прямо обвиняет братьев постриженного Шереметева в измене: «Оттого ли, — пишет он монахам, — вам так жаль Шереметева, оттого ли так жестоко за него стоите, что братья его и ныне не перестанут в Крым посылати да басурманство на христианство наводити». Оказывается, что этот постриженный Шереметев, под именем Ионы, был один из опальных — боярин Иван Шереметев. По известию Курбского, в начале своего мучительства царь Иван мучил его заключением в узкой тюрьме, с острым полом, привесив ему на шею, на руки и на ноги вериги и обруч в десять пудов на эти вериги. Он допрашивал Шереметева, где у него сокровища, говорит Курбский, но страдалец отвечал, что он руками убогих передал их в небесное сокровище. Царь Иван не казнил его, однако приказал удавить одного из его братьев, Никиту, а сам Иван Шереметев принял монашеский образ. Так говорит Курбский. Царь Иван имел предлог быть недовольным Шереметевым за его неудачное дело с крымцами в 1555 году, в котором, однако, Шереметев был не виноват, напротив, лично показал храбрость, удерживаясь с семью тысячами против многочисленной орды. Вероятно, воспоминание об этой неудаче, которую припоминал царь и в письме своем к Курбскому, состоит в связи с теми обвинениями, которые он возводит на братьев Ивана Шереметева. Царь Иван всякую неудачу толковал тайною изменою и припоминал то, что было за двадцать лет, когда нужно было вылить злобу. Боярин Иван Васильевич постригся, вероятно, в 1570 году, когда по разрядным книгам он значится умершим. У боярина Ивана Васильевича было пять братьев: старший по ним Григорий, значащийся в родословной книге бездетным, нигде не является; двое следующих за ним — Семен и Никита были боярами; Семена не стало в 1562 году, Никита, по известию Курбского, умерщвленный царем, значится по послужным спискам умершим в 1565 году; затем Иван Васильевич Шереметев, называемый для отличия от старшего брата того же имени Иваном меньшим, был убит при осаде Ревеля в 1577 году. Так как послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь писано после казни Воротынского, происшедшей в 1577 году, то, следовательно, и после смерти Ивана Васильевича Шереметева меньшого; таким образом, нам известен один только из живших братьев Шереметевых, сыновей боярина Василия, некогда постригшегося в Сергиево-Троицком монастыре под именем Вассиана, то был Федор Васильевич. Что касается до Григория, второго из этих братьев, то так как имя его

не упоминается в продолжение долгого времени, когда меньшие братья его все перебивали окольными и боярами, то более чем вероятно, что Григория давно уже не было на свете и он скончался молодым, — от этого-то имя его нигде не упоминается, кроме родословной книги. Даже если бы он и был жив, то разве где-нибудь был в монастыре или же, по болезни, был неспособен участвовать в каких-либо делах. Во всяком случае, поклеп на братьев бывшего боярина Ивана, в монашестве Ионы, Шереметева мог относиться исключительно к Федору Васильевичу Шереметеву — к брату, а не к братьям. Зачем же Грозный написал о братьях, а не о брате? Нам кажется, не по какой иной причине, как по привычке лгать, приросшей к его существу; эту черту также часто можно заметить в таких натурах, к каким принадлежит Грозный. Как только их нервы приходят в раздражение, так язык невольно порывается к усугублению того, что приходится сказать. До какой степени были основательны подобные обвинения у царя Ивана и до какой степени он не церемонился с добрым именем своих слуг, можно видеть из того, что Федор Васильевич Шереметев находился в звании окольного до самой смерти царя Ивана. Этого мало. Шереметев был вовсе не хороший полководец и с другими воеводами бежал от Кеси (Вендена), однако за это он не был наказан и даже, вслед за тем, получил начальство над войском. Ясно, что обвинение в измене было ложное. Как мог царь держать в своем государстве изменника, да еще и поручать ему дела? Да и как мог оставаться в государстве сам изменник, входивший в тайные сношения с крымским ханом ко вреду Московского государства? Навлекши на себя подозрение у своего государя, ему прямой расчет был уйти к тому государю, с которым он вступил в такую дружбу. А если так, если царю Ивану было нипочем всклепать на кого угодно измену, то как неосновательны суждения тех историков, которые считают возможным, что царь Иван не без причины свирепствовал, казня будто бы за измену, — историков, допускающих, что злоба царя Ивана имела справедливую причину! Сам царь Иван Васильевич, впрочем, потрудился открыть потомству ту причину, за что он злился на Шереметевых, особенно на старца Иону. «Зачем, — пишет он в монастырь, — уже ровно год происходит у вас смятение из-за Шереметева и волнуется такая великая обитель? Другой на вас Селивестр наскочил, а *однако его семьи!*» (т. е. одного с ним поля ягода). Боярин Иван Васильевич Шереметев принадлежал к кружку бояр, сторонников Сильвестра, кружку, управлявшему, вместе с Сильвестром, одураченным царем Иваном! И Сильвестр, и все его благопри-

ятели продолжали стоять костью в горле у царя, которого оскорбленное самолюбие не могло удовлетвориться никакими кровавыми потоками. От злобы к старцу Ионе переходила злоба и на братьев его; впрочем, к этим последним, или по крайней мере к Федору Васильевичу, она не выразилась чем-нибудь особенным, кроме, при случае, таких обвинений в измене, которые напоминают выходки злых и истеричных женщин, всегда в раздражении готовых выражать свое неудовольствие против других поклепами и обвинениями. Есть нервные натуры, которые выкупают дурачества минутного раздражения непамятозлобием и добротою сердца. Иван Васильевич Грозный не принадлежал к таким натурам. Его глубоко злое сердце высказывается в той злопамятности, с какою он преследует опального боярина в монастыре, хотя уже много-много лет протекло с того времени, в которое оскорблено было безграничное царское самодержавие. Еще нагляднее выразилось это качество души царя Ивана в его отношении к замученному уже им князю Михаилу Воротынскому. И этого человека вина была та же, что и многих других: и он был муж Сильвестровой эпохи! Иван Васильевич обвинил его не в измене, а в чародействе, по доносу раба Воротынского. Обвинение было подходящее для старого благоприятеля Сильвестра, которого, так же как и самого Сильвестра, враги представляли Ивану чародеем. Царь Иван, как рассказывают, жарил на углях казанского героя, победителя крымцев, и измученного, истерзанного отослал на Белоозеро; Воротынский на дороге скончался. Его похоронили в Кирилло-Белозерском монастыре; быть может, там бы ему пришлось долго жить, если б смерть не сжалилась над ним и не прекратила его страданий. Но мученик беспокоил царя и в своем гробе. Вдова Воротынского построила церковь на могиле мужа. Ивану это не понравилось, и вот, в своем послании, он выражает свое неудовольствие, прикрывая нечистое побуждение злобной зависти к мертвому личиною благочестия. «Я слышал, — пишет царь, — что один брат из ваших говорил: хорошо сделала княгиня Воротынская; а я говорю: нехорошо, во-первых, потому, что это есть образец гордости и величания: церковь, гробница и покров приличны только царской власти; это не только не спасение душе, но пагуба; пособие же душе бывает от всякого смирения; во-вторых, это немалый зазор, что над ним церковь, когда над чудотворцем нет церкви». По этому поводу тиран прибавляет с ирониею: «И на Страшном судище Спасовом Воротынский да Шереметев станут выше чудотворца — Воротынский церковью, а Шереметев законом: их закон у вас крепче чудотворцева».

Кроме этого послания, существуют еще два (или три) коротких послания царя Ивана в тот же Белозерский монастырь, писанные во время болезни и, очевидно, уже незадолго до смерти. Как ни коротки эти послания, но характер царя отразился в них самым резким образом. Видно, что Иван, то падавший духом до уничтожения, то показывавший чрезмерное высокомерие, находился в самой крайней степени падения духа в то время, когда писаны были эти послания. Он явно страшится приближения смерти, боится наказания за гробом и спешит откупиться от него. Вот он посылает братии Кирилло-Белозерского монастыря по гривне, двадцать рублей братии на корм, десять рублей нищим за воротами да сто рублей на масло. Чрезвычайно знаменательная черта, живо представляющая и личность царя, и ту нравственную систему, в которой воспитывались люди не только века Ивана Васильевича, но люди многих веков под влиянием искаженных христианских понятий. Благодетельство не приводило царя к обращению на путь справедливости и человеколюбия. Его покаяние, очевидно, было плодом страха; ни здесь и нигде в других своих писаниях Иван не заявлял даже на словах решимости исправиться, начать иную жизнь; он не чувствовал в этом потребности. Прежняя жизнь для него не становилась мерзкою, она только внушала опасность. Грешить, как он грешил, приятно, — да, говорят, за это на том свете плохо придется, если не успеешь отмолиться и покаяться! И вот царь-грешник старается отклонить от себя грядущий удар. Своekorыстие движет его покаянием. От этого он на страждущее человечество жертвует десять рублей в виде раздачи нищим у ворот монастыря, тогда как, будучи государем, он бы мог разом облагодетельствовать многие тысячи подвластного народа, если бы только действительно, а не призрачно, раскаявшись в своих мерзких делах, возымел твердое намерение показать пред Богом, требующим любви к ближнему, плоды истинного покаяния и обращения. Всего десять рублей: эти рубли могли насытить только на каких-нибудь несколько дней толпу нищих, из которых, без сомнения, было немало празднующихся! И только! Зато сто рублей — в десять раз более того — Богу на масло, т. е. чтоб перед образами горело масло. И выходило, что в голове царя Ивана Васильевича существовало такое понятие, что Бога всего более можно смягчить; этого мало — подкупить на неправое дело (ибо оставить без кары неисправившегося злодея, по духу христианства, было бы неправым делом) несколькими пудами масла! Вместе с тем царь как будто пытается обмануть Господа Бога ложным смирением. В знак смирения он бьет

челом преподобию ног игумена и братии и называет себя не царем, а только великим князем — сам как будто понижает свое достоинство. Между тем он, конечно, не слишком смиренно расправился бы с теми же преподобными отцами и братьями, если б они прогневали его каким-нибудь признаком неуважения к его царственному сану и вздумали бы вправду считать его только великим князем, а не царем. Тиран, пришедши в болезненное состояние и приближаясь к смерти преждевременно, вследствие истощения от развратной жизни и частых внутренних потрясений, не на шутку, видно, испугался тех чертей, которых изображения видал на иконах Страшного суда и на старых рукописях; верно, живо представлялось ему то ощущение, которое должна была почувствовать его душа по исходе от тела, встречаясь с демонами, готовыми потащить ее крючьями в преисподнюю, — и в этом испуге царь прибегает ко лжи: начинает лгать перед Богом и перед собственной совестью. Без лжи он не мог обойтись: она давно уже въелась в его существо.

Духовное завещание, писанное царем Иваном, по всем вероятностям, около 1572 года, страдает чрезвычайным пустословием, лицемерством, нескладностью сочинения. Оно загромождено отрывками из Евангелия; приводятся притчи и речи Спасителя, но не везде кстати, то есть не каждая в подтверждение данной мысли; несколько раз одно и то же повторяется, как, например, повеления сыновьям любить друг друга и жить в согласии. Царь Иван Васильевич сравнивает себя с библейскими грешниками, перечисляет члены своего тела, оскверненные разными грехами, соответствующими отправлениям этих членов; указываются всякого рода грехи, возможные в человеческой жизни, подобно тому как они перечисляются в молитвах, которые рекомендуются для исповедания пред Богом грехов даже и тем, которые нередко неясно понимают значение этих грехов. Все это не более как формалистика. Вот если б Иван, вместо общих выражений, перечислил бы несколько своих гнусных поступков, указав время их совершения и обстоятельства, сопровождавшие их, тогда другое дело: тогда можно было бы считать такое сознание признаком истинного раскаяния. Но Иван не в силах был сделать этого.

В политических понятиях Иван Васильевич вовсе не представляется умом, достигшим до уразумения самобытности государства в его неделимости и неподлежания его состава временным переменам правительств. Для царя Ивана государство не более как вотчина. Он делит его между сыновьями. Правда, части, предоставляемые двум сыновьям, не равны между собою; удел меньшого несравненно



менее владений старшего; кроме того, меньшой сын должен оставаться в повиновении у старшего брата; ему запрещается восставать даже и тогда, когда бы старший брат обидел его чем-нибудь; но все-таки за этим меньшим остается некоторого рода феодальное право: его бояре не могут отъезжать от него во владения старшего брата, а иначе они потеряют свои имения; это самое правило наблюдалось и в случае отъезда тех же бояр в иное государство. Сверх того, царь Иван предоставляет некоторые города и волости тем своим детям, которые еще не явились на свет, но могут появиться. При таком основном взгляде на государство, как на собственность царственного рода, Русь неминуемо раздробилась бы на многие части, если бы только царская семья размножалась и разветвлялась. Владетели уделов были бы, по праву, подчинены одному верховному владетелю, носящему знаменательное название царя; но ведь известно, что такого рода подчинение бывает продолжительно только до тех пор, пока подчиняющий в действительности силен, а подчиняемые в сравнении с ним малосильны. Само собою разумеется, что власть верховного владетеля тем более будет ослабевать, чем менее в его непосредственном владении останется населенной территории, а территория непременно будет уменьшаться по мере того, как удельных владетелей станет больше, потому что тот же верховный владетель в своем уделе должен будет отводить уделы сыновьям. Опыт всех времен и всех стран уверяет нас, что где только государственная область делилась между членами царственного рода, там неизбежны были междоусобия и власть того, кто должен был иметь значение верховного владыки, главы всех владетелей, непременно умалаялась до тех пор, пока, при содействии благоприятных внутренних и внешних обстоятельств, ей не удавалось подниматься искусственными и всегда насильственными и нечистыми средствами; притом она возвышалась более или менее постепенно. Нельзя сомневаться в том, что, если бы у Ивана были живы все рожденные им дети и все оставили после себя наследников, Восточная Русь опять бы разделилась, опять бы повторились в ней прежние междоусобия. Если произошло иначе, если Восточная Русь сохранила свое государственное единство, то этим обязана она была не мудрости царя Ивана, а чисто слепому случаю: московская линия Рюрикова дома не расширялась, а вымирала. Что касается до тех отношений, которые устанавливал царь Иван Васильевич между своими сыновьями, то надобно слишком большого простодушия, чтобы на них основывать какое-нибудь ручательство будущего спокойствия государства.

Если царь, деливши государство между сыновьями, расточал им нравоучения о том, чтоб они жили в согласии и меньшей находился в подчинении у старшего, то это было не более как лекарство (при том ненадежное и много раз напрасно употребляемое на Руси) от такой болезни, которую сам же царь и производил. Если бы московский тиран был в самом деле мудрый политик, каким его воображают себе некоторые ученые, то, заботясь о единодержавии и самодержавии, он бы прежде всего избежал такого опасного распорядка: по старинным примерам, его последствия могли быть достаточно видны для светлых умов и XVI века. Положим, что в этом отношении царь Иван поступил не безрассуднее всякого другого на его месте человека, не особенно умного, непроницательного и неспособного подняться до большей широты и высоты воззрения, чем какая была у его предшественников; но все-таки несомненно, что здесь царь Иван вовсе не дальновидный политик.

Посреди общих и избитых нравоучений, противоречивших поступкам всей жизни Ивана, в его духовном завещании мы встречаем признаки той, так сказать, исторической лжи, которая почти нигде не покидала царя Ивана в его писаниях и речах. В этом духовном завещании говорится, что царь изгнан самовольными боярами и скитается по странам. (А что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершуся, изгнан есмь от бояр самовольства их ради от своего достояния и скитаюся по странам, аможе Бог когда не оставит (?) и вам *есми* грехом своим беды многие нанесены.) Все важные деяния царя Ивана и все случаи его царствования нам достаточно известны, по крайней мере в общих, главных чертах: если бы было иначе, кто бы решился оспаривать такое важное свидетельство, как духовное завещание самого царя о том, что он был изгнан, лишен власти и скитался по странам? Это, по-видимому, подтверждается и дальнейшими выражениями того же духовного завещания; Иван говорит своим сыновьям: «Докудова вас Бог помилует — освободит от бед», и далее: «А будет Бог помилует и государство свое доступите и на нем утвердитесь». Не ясно ли, что завещание писано в то время, когда царь находился где-то в изгнании, в чужой земле или если в своей, то никак не в столице, не у себя во дворце, и если бы он вскоре после этого завещания скончался, то сыновьям его пришлось бы вступить в свои владения, указанные им завещанием, не иначе как посредством борьбы с врагами? Так подумал бы всякий, прочитав это завещание и недостаточно зная события царствования завещателя. А между тем история не представляет нам ничего

подобного: Иван Васильевич не был изгнан и не скитался по причине самовольства бояр. Итак, это ложь, — вопиющая, отвратительная ложь пред самим собою, пред Богом, во имя которого пишется завещание, ложь пред современниками и потомством! Как же после этого можно предполагать какую-нибудь справедливость в его жалобах на измену и оправдывать его казни тем, что, быть может, он в самом деле казнил действительных изменников?!

Завещание это, как видно, было составлено недолгое время спустя после знаменитого сысского изменного дела, связанного с страшным разгромом Новгорода и после разорения Московского государства Девлет-Гиреем. На существование сысского изменного дела указывает одна опись дел 1626 года. Самое дело потеряно. Потеря чрезвычайно важная; но из того, что мы знаем об ужасных событиях, относящихся к утраченному делу, уже можно заключить, что дело это было плодом необузданной, чудовищной фантазии кровавого тирана. В вышеупомянутой описи дел 1626 года указывается, что в этом деле рассматривался заговор лишить Ивана Васильевича престола и жизни и возвести на его место его двоюродного брата Владимира Андреевича, а Новгород и Псков отдать великому князю литовскому. Но какое неестественное сочетание! Тем, которые хотели возводить на престол Владимира Андреевича, зачем было отдавать Новгород и Псков? С другой стороны, если бы существовали в Новгороде и Пскове такие, которые желали бы лучше поступить под власть Литвы, чем оставаться под властью Москвы, то для них не все ли равно, кто бы после Ивана ни царствовал? Характер расправы царя Ивана по этому делу никак не вяжется с изменою. Таким образом, если целью ее было наказать и уничтожить измену в Новгороде и Пскове, то зачем он сначала производил убийства в Твери? Зачем начал с пленников? Зачем после бойни в Новгороде не произвел такой же в Пскове: он приехал в Псков с целью делать то же, что делал в Новгороде, но, как говорят, был потрясен выходкою юродивого Николая, предложившего ему кусок сырого мяса в пост, в знамение того, что он, царь, пожирает людей. Понятно, что царем не руководило правосудие, он действовал только по внушению страстей; иначе никакие юродивые не могли бы спасти виновных от суда и расправы. Весь характер расправы царя Ивана по этому делу носит на себе такие признаки, которые несовместны с производством суда над изменниками, напротив, представляют вид всеобщего разграбления с корыстной целью. Прежде всего собрали со всех новгородских церквей попов, диаконов и других лиц и поста-

вили на правеж: с каждого правили по 20-ти новгородских рублей. За что могли они быть подвергнуты варварскому взысканию по делу об измене? По приезде царя игуменов, попов черных и диаконов и соборных старцев, которых прежде мучили на правеже, избili палицами до смерти. Других держали на правеже долее, а в заключение отправили в Москву. Как согласить такие поступки: сначала поставить на правеж, взыскивать деньги, а потом побить! После варварских мучений и утоплений царь ездил по монастырям, грабил монастырскую казну, приказывал сжигать разные хозяйственные заведения, истреблять скот; то же по его приказанию делалось с торговыми людьми в Новгороде. Где же тут суд и кара за измену?

Главным поводом ко всем ужасам новгородской бойни представляется алчность. Иван был эгоист и потому уже алчен. Он любил тешиться богатствами и украшениями. Он слышал, что в Новгороде, как в монастырях, так и у частных лиц, было много драгоценного, и ему хотелось захватить все это себе. Алчность была не только одним из качеств его личности, но перешла к нему и по наследству, и по преданию. Все его предки, московские государи, отличались скопидомством и редко стеснялись в выборе мер приобретения, когда представлялись удобные случаи. Вот и Ивану такой случай представился. Какой-то Петр волынец подал донос, будто новгородский владыка с некоторыми новгородцами хочет изменить царю. Письмо такого содержания, за подписью разных лиц, было найдено за иконою в церкви Св. Софии. Это письмо, как говорят, было подложное; сам доносчик, злобясь на Новгород, где он потерпел наказание, составил его, искусно подделавшись под руки других, положил за икону, где оно по его указанию было потом отыскано. Самый способ отыскания если не прямо свидетельствует о его подложности, то при вышеприведенных обстоятельствах представляет возможность подлога. Мы не станем уже вдаваться в то, что в условиях тогдашнего положения Новгорода не видим никаких данных, выказывавших подобный замысел отпадения Новгорода и Пскова от Московского государства и присоединения их к Литве. Предположим, что Пимену и другим взшло в голову предлагать Сигизмунду-Августу северные русские области во владение. Но как же мог узнать о содержании и месте хранения такого важного документа не природный новгородец, а чужеземец, бродяга? Кроме того, мы узнаем, что этот донос сделан после того, как уже царь Иван положил свою немилость на Новгород и перевел оттуда сто пятьдесят семей. Очень подручно было доносчику устроить свои козни: Иван, во всякое время склонный

верить изменам, теперь был особенно доверчив; таким образом, желание грабежа само собою покрывалось благовидным предложением кары за измену. Но вместо суда и казни тех, которые по суду оказались бы виновными, тиран повальным избиением и правого и виноватого, праведными и свирепствами в тех местностях, которые не могли быть включены в предполагаемый замысел, касавшийся двух древних народоправных земель, слишком обличает несостоятельность обвинений, которым он хотел заклеить свой народ.

К памятникам литературной деятельности Ивана Васильевича можно отнести его речи, которые он говорил перед иноземными послами, блистая своим красноречием, особенно перед польскими, которые, к сожалению, еще не изданы полным собранием. Из них мы преимущественно укажем на те, которые произносились по поводу предположения избрать королем польским и великим князем литовским принца из московского дома. По смерти Сигизмунда-Августа хотели избрать собственно сына Иванова, Феодора, Ивану же хотелось царствовать самому; и вот он истощал свое красноречие перед литовскими послами очень оригинальным образом. Когда приехал в Москву первый посланник по этому поводу, Воропай\*, царь Иван счел долгом оклеветать ему своих. Он объявлял, что если бы его, царя, выбрали королем, то он был бы для избравших его удивительным защитником. Но он тогда же сообразил, что, конечно, поляки и литовцы знают о его злодеяниях, и потому надобно было ему оправдать себя перед ними, а чтобы оправдать себя, неизбежно было очернить других. Царь замечал, что о нем рассказывали, будто он вспыльчив и зол; он сознавался, что точно он вспыльчив и зол, только против тех, которые против него злы, «а кто против меня добр, — говорил он, — тому я не пожалую отдать с себя цепь и одежду! Не диво, что у вас паны любят своих людей, когда и люди любят своих панов, а мои люди подвели меня крымскому царю». Грозный рассказывал иноземцу небывицы про посещение Девлет-Гирея. Воеводы его сносились, мол, с ханом, подвели его, оставили царя с малым числом войска, только с шестью тысячами, и он, царь, должен был немного отойти в сторону! Тогда татары вторглись в Москву. «Если бы в Москве, — говорил царь, — было не более тысячи людей для обороны, и тогда бы она могла оборониться. Но если большие люди не хотели обороняться, то как могли меньшие. Моск-

---

\* Федор Зенкевич-Воропай — посол от сената Речи Посполитой к Ивану Грозному в 1573 году. — *Прим. составителей.*

ву сожгли, а мне знать не дали. Посуди же, какова измена моих людей, и потому если кто и был казнен, то за свою вину».

Здесь ложь. Виноваты ли были воеводы, которых выставили вперёд против хана с войском, или нет — решить трудно; во всяком случае, если они были виноваты, то разве в неспособности и неискusstве, а уж никак не в измене. Из дел оногo времени, а равно из описаний событий не видно, где именно хан, которогo не следовало пропускать через Оку, перешел через эту реку и насколько воеводы действовали по своему усмотрению и насколько по приказанию царя. Царь Иван Васильевич говорит, что с ним было всего-навсего только шесть тысяч. По всем вероятиям, здесь значительное уменьшение того количества, какое на самом деле было. Независимо от войска, выставленного в числе пятидесяти тысяч против хана, другое войско находилось близ самого царя, с передовым и сторожевым полками. Невозможно, чтоб все это войско ограничивалось количеством шести тысяч; царь слишком заботился о сохранении своей особы, чтоб ограждать себя таким незначительным отрядом. В то же время царь, уменьшая перед литовским посланником число собственного войска, уменьшал и силу крымского полчища до сорока тысяч, тогда как, по другим известиям, его было до 120 000; последнее число вероятнее, потому что татарский хан не пустился бы в такую даль иначе как с огромною ордою. Чтобы оправдать себя и обвинить своих воевод, царю нужно было сделать такое уменьшение; расчет понятен: когда бы мало было татар, воеводам, стало быть, можно было с ними померяться; а когда мало было войска с царем, стало быть, царь не от трусости, а от крайней необходимости удалился немного в сторону\*. Царь Иван Васильевич лжет, уверяя, будто Москва оставалась без обороны, и что если б там была хоть тысяча человек, то столицу можно было бы охранить. Оказывается, что те воеводы, которых царь чернит изменниками и предателями, поспешили оборонить Москву, тогда как царь бежал в Ярославль. Девлет-Гирей не взял Москвы; она сгорела во время его приближения к ее стенам, сгорела от смятения и беспорядка, возникшего именно вследствие того, что царь оставил ее в такое страшное время неприятельского нашествия. Хан

---

\* Воропай передает слова царя Ивана Васильевича следующим образом в польском переводе: *Lecz i na ten czas mocy tatarskiey ni kaska się nie bałem, jedno źem widział zmienność i zdradę ludzi moich, tedy od ludzi tatarskich mało na stronę odwróciłem się.* («Но и тогда ничуть не устранился я силы татарской, но видя измену и предательство моих людей, вынужден был отойти от татар в сторону» [перевод наш. — *H. B.*]).

все-таки отступил от нее, потому что русское войско готово было сразиться с ним. Понятно, что царю надобно было себя как-нибудь выгородить, а воевод обвинить; если бы из своих никто не осмелился упрекнуть его в глаза, то все же самолюбие его сильно страдало, когда он воображал, что другие считают его трусом, да и перед самим собою ему делалось стыдно. Одно ему было спасение — измена других. Измена действительно была. Но какая? Некто Кудеяр с пятью детьми боярскими да после него двое новокрещенных татар прибежали к хану, извещали его о бедствиях в Московском государстве, о том, что там уже два года сряду была меженина (голод) и мор, что царь многих побил в опале, что большая часть войска в Ливонии, а близ Москвы его немного, что теперь-то наступило самое удобное время напасть на Русскую Землю. Этот Кудеяр был, во-первых, сам татарин, а во-вторых — разбойник: таким называет его в своем письме к хану сам царь; и в народной памяти сохранилось это имя в звании разбойника. Достойно замечания, что во многих местах Великой Руси осталось предание о татарине-разбойнике Кудеяре; там и сям указывают даже на следы пещер, где жил или проживал Кудеяр, на курган, где он погребен. Народная фантазия представляет его необыкновенным силачом и волшебником; говорят, что много бед приняли от него русские, пока победили. Кудеяр Тишенков, называемый в письме царя к хану разбойником, вероятно, одно и то же лицо с татаринком-разбойником народных преданий под именем Кудеяра. Из этого оказывается, что хану Девлет-Гирею во время похода его к Москве в качестве изменников помогала разбойничья шайка под начальством татарина, а может быть, и вообще составленная из татар, хотя бы и крещеных: нередко крещеный татарин долго оставался с татарскими симпатиями и, при случае, готов был выказать себя враждебно по отношению к Руси. Таким образом, о двух изменниках, в то же время подговаривавших хана и служивших ему проводниками, Иване Урманове и Степанке, мы положительно знаем, что они были новокрещенные татары. Более чем вероятно, что главный коновод этой измены, Кудеяр, был татарин и помогал татарам по симпатии, какую питал к ним как к своим землякам, да притом он, как разбойник, более чем всякий другой был способен на дело, вредное тому краю, где жил. Такого рода измена была вполне естественна; но царю Ивану она не годилась: ему нужно было измены не какого-нибудь разбойника, а людей знатных и начальствующих, измены боярской и воеводской. И вот он выдумал такого рода необходимую для себя измену: он взял с одного из воевод, Мстиславско-

го, клятвенную запись с признанием в измене. Мы не знаем, один ли только Мстиславский давал тогда такую запись, или, быть может, то же самое взято было и с других воевод, а потому можем судить только об одной и по этой одной делать заключение о всем деле. В своей клятвенной записи князь Мстиславский говорит, что он «православному христианству и всей русской земле изменил, навел есми с моими товарищами безбожного Девлет-Гирея крымского на святые православные церкви» и пр. Вместе с тем с некоторых бояр взяли за него, Мстиславского, поручную грамоту, чтоб ему никуда не убежать, а за этих бояр взяли поручную грамоту с других лиц.

Может ли быть какое-нибудь вероятие в измене Мстиславского и оговоренных его товарищей воевод, начальствовавших разом с ним в войске, выставленном против татар? Если Мстиславский был действительно изменник, то как он мог оставаться по-прежнему близ царя цел и невредим? Мы видим, что Мстиславский, сознавшись в измене отечеству, на другой же год ездил с царем в Новгород, а потом воевал в Ливонии. Чем же представляется сам царь, допускавший сидеть у себя в совете и начальствовать войском человеку, умышленно предавшему отечество врагам, виновнику страшного московского пожара и гибели людей, которых число преувеличивали до 800 000? Неужели есть возможность человеку, принужденному сознаться в таком ужасном преступлении, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране — не только оставаться без казни, но даже пребывать с высшими почестями? А товарищи, на которых Мстиславский указывает как на соучастников своего преступления, кто они и что с ними случилось? Это, без сомнения, воеводы, начальствовавшие в одном и том же войске, где Мстиславский был воеводою правой руки. Ближайший его товарищ — второй по нем воевода правой руки, был Иван Васильевич Шереметев меньшей; мы видели, что царь обвинял его, как будто еще живого, уже тогда, когда его не было на свете; но такое обвинение не имеет основания. Главным воеводою в том войске, где был Мстиславский, был князь Иван Дмитриевич Бельский: по разрядным книгам он значится убитым в приход Девлет-Гирея к Москве, а по известию летописи, он задохся во время пожара в погребке, в своем дворе. Если б он был изменник, едва ли бы он поспешил защищать от крымцев покинутую царем столицу.

Надеемся, что никто не станет чернить клеветою ни князя Михаила Воротынского, впоследствии одержавшего победу над крымцами на берегах Лопасни, ни Ивана Петровича Шуйского, геройски защищавшего Псков против Батория. В 1570 году, во время нашествия



Девлет-Гирея, первый начальствовал передовым, второй — левой руки полком. Нельзя также подозревать в измене воеводу сторожевого полка князя Ивана Андреевича Шуйского; он оставался в чести и был убит в 1573 г. в сражении в Эстонии. Бывший товарищем князя Воротынского в передовом полку, князь Петр Иванович Татев самим царем Иваном впоследствии возведен был в сан окольного, а потом боярина. Товарищ князя Ивана Петровича Шуйского, Михаил Яковлевич Морозов пострадал от царя Ивана Васильевича, но сравнительно уже поздно, вместе с князем Михаилом Воротынским, в 1576 году, следовательно, не за измену в 1571-м. Таким образом, все лица, которых огулом царь обвинял в измене, из которых, сколько нам известно, один князь Мстиславский сознался в измене и оговорил в том же преступлении своих товарищей, — все эти лица остались без наказания, участвовали в государственных делах, начальствовали войском, находились в царском совете и получали от царя повышения. Вслед за нашествием Девлет-Гирея казнены были, в числе других лиц, князь Михаил Темрюкович Черкасский, шурина царя, и Василий Петрович Яковлев; люди эти были во время нашествия крымского хана воеводами в том войске, которое находилось вместе с царем. Но по всему видно, что казнь их имела другой повод и связана была, как справедливо полагал Карамзин, с болезнью и скорою смертью новой царской жены, Марфы Собакиной, а никак не произошла по каким-нибудь обвинениям в предательских сношениях с Девлет-Гиреем во время его нашествия, тем более что казнь эта в то же время постигла лиц, не участвовавших в отражении крымского нападения. Во всяком случае, жалуюсь литовскому посланнику на измену своих воевод, царь ясно разумел тех, которые находились в выставленном впереди войске, где главным воеводою был князь Иван Дмитриевич Бельский. Царь говорит, что воеводы, которые пред ним *впереди шли*, не дали ему знать о приближении крымского хана и не хотели вступить в битву, что он был бы доволен, если бы они, потерявши несколько тысяч человек, прислали ему хоть бы одну татарскую плеть. Не подлежит ни малейшему сомнению, что царь Иван разумел здесь именно тех воевод, в числе которых был признавшийся в измене князь Мстиславский, а не тех, которые окружали тогда самого царя. Между тем, не церемонясь с другими, царь, однако, не наказывал тех, кого чернил пред иностранцами как государственных изменников. Иван лгал, говоря, что если после крымского прихода кто и был казнен, то за свою вину. Из тех, кого он чернил по поводу нашествия Девлет-Гирея, никто казнен не был.

Ясно, что тиран для оправдания своей трусости выдумал измену и обвинял других. Но в таком случае отчего же он прямо не казнил тех, которых обвинял, и отчего, взяв с Мстиславского запись с признанием измены, совершенной вместе с товарищами, оставлял в прежнем сане и Мстиславского, и его товарищей? Как объяснить такую несообразность?

Мы думаем, что не ошибемся, если объясним это следующим образом:

Царь Иван в это время сильно трусил, но он трусил не только хана и его татар: он трусил и своих подданных. В самом деле, как ни покорна была погруженная в рабство масса, но всему есть предел, и она при своей покорности иногда теряла терпение и проявляла свое неудовольствие диким, кровавым образом. Иван помнил первый московский пожар, после которого пострадал от народа царский дядя Глинский и сам царь подпал влиянию ненавистного Сильвестра. Он мог опасаться от народа волнения, подобного прежнему, и предметом народной ненависти, естественно, должен был на этот раз сделаться сам царь, постыдно оставивший свою столицу в минуту опасности и думавший только о себе, а не о своих подданных. С народной толпой уже не может справиться никакое самовластие, если только она протрет себе глаза и потеряет терпение. И вот царь Иван Васильевич задумал обеспечить себя от этой стороны. Он обвинил своих воевод, но потребовал от них сознания в их вине, а за то обещал помиловать и простить. Повторяем — нам неизвестно, давал ли еще кто-нибудь, кроме Мстиславского, такую своеобразную запись, какую дал последний; но, если бы и существовала только одна, которая до нас дошла, все равно Иван имел уже, на случай народного волнения, вместо себя козла отпущения: он выдал бы его народу для утешения народной досады да не пожалел бы также и других товарищей Мстиславского. В таких видах Ивану Васильевичу гораздо подручнее и выгоднее было не казнить обвиненных, а оставить их целыми и невредимыми и беречь их на случай, когда можно будет ими заместить самого себя. Вот, по нашему мнению, разгадка такого странного и непонятного документа, как запись Мстиславского, в которой этот князь добровольно сознается в государственной измене, оставаясь после того полководцем и государственным человеком. Но царю Ивану Васильевичу пригодился тот же способ взваливания своих царских грехов на воеводские плечи и для оправдания себя пред иностранцами. Он чувствовал за собою бесславие как трусости, так и жестокости; ему досадно было, что

за рубежом его государства писали и говорили о его пороках, — всего более он злился за то на своих беглецов, вроде Курбского; царю бы хотелось уверить всех, что на него наговаривают напраслину, а не представляют его поступков в настоящем их виде. Когда литовский посланник явился к нему с предложением желанья некоторых избрать его королем, первым делом царя Ивана было объявить литвину, что московский царь не трус и не мучитель, а человек очень хороший, и вместе с тем очернить своих слуг.

Нельзя приписывать личной мудрости царя Ивана высказанное им много раз сознание права на возвращение Русских земель, как древнего достояния державы, имевшей название Русской и хотевшей быть всерусскою пред целым миром. То же говорилось и предшественниками Ивана; этому надлежало повторяться из уст его преемников; то было прирожденное стремление Москвы. Но отношения царя Ивана к Польше и Литве были иные и исключительные; его предшественники не бывали в таком положении, как он. Прекращение Ягеллоновой династии не только открывало новый путь будущности соединенной державы Польши и Литвы, но должно было отразиться важным влиянием на историю всего севера Европы. Была известная партия, желавшая избрать в короли принца из московского дома, но была партия, искавшая, напротив, таких связей, которые бы вели к враждебным отношениям с Москвою. В чем же состояла задача московского царя? Воспользоваться обстоятельствами и стараться повернуть их как можно лучше для Московской державы, и, разумеется, так или иначе, но возможно ближе к заветной цели.

Царь Иван Васильевич показал в этом случае неуменье и сделал так, как только можно было сделать хуже для Москвы.

Сначала приехал посланником в Москву Воропай и привез желание многих избрать на престол Речи Посполитой царского сына Феодора. Царь Иван Васильевич не желал давать в короли Польше и Литве сына, а предлагал самого себя. Несомненно, что ему очень хотелось получить корону, хотя избрание Феодора во многих отношениях могло бы совершиться гораздо легче, чем избрание самого царя. Но как же поступал в этом случае царь Иван? Получив согласие и выслушав от царя апологию своих поступков, Воропай уехал. Прошло потом полгода. Иван не старался подвигать этого вопроса к разрешению в пользу своей державы никоим образом. У него не было ни искусных послов на сейме, не развязал он своей скупой московской калиты на подарки; а между тем ловкий француз Монтлюк расположил своим красноречием и обещаниями поляков

в пользу дома Валуа. Во второе посольство к царю, которое возложено было на Михаила Гарабурду, царь явно гневался за медленность поляков и литовцев и на этот раз уже не торопился с прежним жаром сделаться польским королем, говорил ни то ни се: то соглашался отдать полякам в короли сына, но не иначе как наследственно\*, то сам себя предлагал в короли и также наследственно, то заявлял желание быть выбранным на литовский престол без польской короны, то, наконец, вовсе не желал, чтоб у поляков и литовцев был королем он, московский царь, или его сын, а рекомендовал принца из австрийского дома. Понятно, что дело обратилось совсем в противную сторону, и на польский престол избран был французский принц; совершилось такое избрание, насчет которого царь Иван Васильевич предупреждал литовского посла, что если оно состоится, то ему, царю, над Литвою промышлять. Но избранный на польский престол Генрих д'Анжу, как известно, скоро убежал из Польши; тогда хотели снова избрать короля из московского дома, и притом уже прямо самого царя Ивана, следовательно, хотели сделать то, чего желал Иван в самом начале и о чем заявлял Воропаю; партия за него была немаловажная, особенно в Литве, Волыни и других русских землях; примас королевства Яков Уханский был его горячим сторонником и подавал царю советы, как склонить тех и других влиятельных панов. Иван Васильевич не воспользовался этими советами; ему хотелось получить польскую корону, но жаль было издержек для этой цели; он не решался поступить ни тем, ни другим образом, он более всего боялся, чтоб ему как-нибудь не унизиться и не сделать какого-нибудь шага, недостойного того сана, которым он величался, хотя постоянно, во всю свою жизнь, делал это. Теперь он опять и еще сильнее благоволил к избранию на польский престол принца из австрийского дома. Дело в Польше окончилось тем, что, при нерешительности и бездействии московского царя, партия, ему враждебная, взяла перевес и был избран королем Стефан Баторий. Тогда, пропустив удобное время, московский государь начал заявлять свое неудовольствие, не хотел называть новоизбранного короля братом, а называл только соседом, требовал, как уже вошло в Москве в обычай, Киева, Витебска, Канева, то есть русских земель,

---

\* Требование это, по духу поляков, было неуместно в то время. Притом же царь, из прежних примеров с Ягеллонами, мог иметь в виду, что после избрания московского принца на польский престол в Польше и Литве будет всегда существовать сильная партия, желающая, чтоб последующие короли были избираемы из одного и того же дома.

присоединенных к польско-литовской державе, и даже изъявлял притязание, что со смертью Ягеллонов вся польская корона и Великое княжество Литовское по праву делаются вотчиною московских государей. Что же было последствием таких несвоевременных заявлений? Иван Васильевич навлек на себя несчастную войну, потерял все сделанные им прежде приобретения на Западе и перенес великое нравственное унижение.

Избрание на польский престол либо самого Ивана, либо его сына непременно совершилось бы, если б сам Иван не помешал этому своим колебанием, скупостью, пустым высокомерием и вообще уменьем вести дело. Мы не будем сожалеть, что не случилось именно того, что могло случиться, уже потому, что не решимся положительно утверждать, чтоб это послужило к пользе Русской земли в будущем\*. Но несомненно, что Иван не руководился какими-либо глубокими соображениями о последствиях в будущем и не показал ни малейших следов той мудрой политики, которая бы клонилась к тому, чтоб тем или другим способом дело в Польше окончилось к пользе Московской державы. Все его речи и поступки показывают, что он действовал по впечатлениям, по тем или другим страстным движениям, а никак не по разумному плану. Его благоволение к избранию на польский престол принца из австрийского дома не показывает в нем прозорливости. Допущение в Польшу этой династии было бы вовсе невыгодно для Московского государства, и вероятно, если б оно совершилось, то повело бы к худшим последствиям, чем те, которые произошли тогда вразрез с желаниями царя Ивана\*\*.

Обозревая круг литературной и умственной деятельности царя Ивана Васильевича, мы считаем не излишним коснуться и его пре-  
пирательства с Антонием Поссевином, тем более что многие по это-

---

\* Бесспорно, что сближение с Польшею послужило бы ко введению признаков европейского просвещения в Московском государстве. Поляки, превосходившие московских людей образованностью, возымели бы на последних нравственное влияние. Но вместе с тем на московском обществе отразились бы и все недостатки, которые глубоко укоренились в польском; просвещение и свобода могли бы сделаться уделом немногих к большому порабощению и погружению в невежество массы народа.

\*\* Недавно один молодой, трудолюбивый и даровитый деятель по русской истории, г. Штендман, показывал нам чрезвычайно любопытные сведения, почерпнутые им из Венского архива; из них оказывается, что Иван Васильевич духовным завещанием передавал после себя все свое государство в руки Габсбургского дома в лице того самого Эрнеста, которого поддерживал в Польше.

му поводу готовы изумляться уму, остроумию и сведениям московского государя.

Хитрый иезуит, преследуя давнюю цель римского первосвященнического престола, приискивал средства подвинуть вопрос о соединении церквей или о подчинении русской церкви папе и для этого хотел вызвать московского государя на спор о вере. Он, очевидно, надеялся, с одной стороны, на свою ученость и ловкость, с другой — на невежество своего противника и на его неумение вести подобные состязания. Сначала царь уклонялся от такого вызова. «Если нам с тобою говорить о вере, — сказал он, — то тебе будет нелюбо. Нам без митрополита и Освященного собора о вере говорить не пригоже. Ты поп и от папы прислан; ты поэтому и говорить дерзаешь, а мы не умеем об этом говорить без митрополита и Освященного собора».

Нельзя не сознаться, что такая речь была благоразумна.

Но были ли эти слова произнесены по собственному побуждению? Не были ли они скорее выражением взгляда, так сказать, общего Москве и подсказанного царю боярами?

Полагаем последнее. Это видно из того, что после произнесения этих слов Иван, в противность их смыслу, вступил в состязание с иезуитом.

Очевидно, сказавши то, что слышал от других и что ему понравилось, с одной стороны, Иван не мог утерпеть и преодолеть своей склонности к разумничанью и богословствованию; он выступил на состязание против ученого иезуита с запасом своих знаний и с силами своего ума. И здесь-то он показал, какова у него была «огромная начитанность и логичность изложения».

«Ты говоришь, Антоний, — сказал иезуиту московский царь-богослов, — что ваша вера римская с греческою одна вера: и мы веру держим истинную христианскую, а не греческую; греческая слывет потому, что еще пророк Давид пророчествовал до Христова Рождества за много лет: от Ефиопии предварит рука ее к Богу, а Ефиопия то место, что Византия, что первое государство греческое в Византии».

Таким образом, царь Иван, читая Священное Писание, получил такие представления, что Ефиопия стояла на том месте, где была Византия, и относил к последней то, что сказано было о первой!

Далее — царь Иван показал, что он знает о важном вопросе разъединения церквей и как понимает его.

Конечно, от человека с большою начитанностью и с светлым умом, человека, каким хотят нам представить царя Ивана его апологисты, можно и должно было ожидать, что, решившись вступить

в спор о различии вер восточной и западной, он прежде всего укажет на те главные черты, которые составляют существенную сторону этого различия. Вышло противное. Царь Иван не вступает с Поссевином в прение о главенстве папы, не доказывает ни смыслом Св. Писания, ни церковною историею несправедливости притязаний римских первосвященников на абсолютную власть в делах веры, не касается прибавления к символу веры слов *и от Сына*, составляющего догматическое различие церквей, не говорит о противном буквальному смыслу слов Христа Спасителя причащении Св. Тайн под одним видом, не знает или знать не хочет ни чистилища, ни обязательного безженства священников: обо всем этом царь Иван не произнес ни одного намека. Он знает, что «римская церковь с нашею верою христианскою во многом не сойдется». Но в чем же она не сходится по его понятиям? «Видим, — московский государь говорит иезуиту, — у тебя бороду подсечену, а бороды подсекать и подбривать не велено и не попу, и мирским людям, а ты, римской веры поп, а бороду сечешь?»

Так вот в чем, по взгляду московского государя, различие веры? Вот что отделяет римскую веру от «истинной христианской»! Не напоминает ли это упорного простолюдина-раскольника последующих времен, не решающегося есть и пить вместе с «скоблёным рылом» и поставляющего сущность христианского благочестия в соблюдении старинных обычаев?

Но Иван, — возразят нам, — беседуя с иезуитом, оговорился, заявив ему, прежде замечания о бороде, что ему известны различия вер гораздо важнейшие: «Мы больших дел говорить с тобою о вере не хотим, чтоб тебе не в досаду было». Следовательно, Ивана нельзя подозревать в круглом невежестве относительно различия восточной и западной церквей. Не следует ли, скорее, заключить, что царь Иван, сознавая заранее бесполезность толков о вере, хотел отстраниться от них, а сделал вскользь замечание, которое имело вид некоторой иронии? Правда, из слов Ивана мы видим, что у него было какое-то смутное понятие о существовании более важных различий в вере, чем «подсечение» бороды; но отчего он не коснулся их? Он говорит Антонию: «Чтоб тебе в досаду не было». Но отчего Антонию могло быть досаднее, если б царь заговорил с ним о принятии Св. Даров под одним видом, а не было досадно, когда он с ним толковал о бороде? Если царь Иван видел бесполезность всяких споров о вере и хотел решительно от них уклониться, то ему не следовало уже касаться ровно ничего; его замечание насчет бороды ровно ни к чему

не могло повести и вызвало только у Антония ответ, который пресекал всякие дальнейшие толки о бороде. «И Антоний перед государем говорил, что он бороды ни сечет, ни бреет». Этим ответом, устраняя самый предмет разговора из области религиозных вопросов, куда хотел ввести его московский государь, иезуит, так сказать, одурачил последнего, указав ему, с одной стороны, что предмет этот может касаться только личных свойств человека и никак не относится к области веры, а с другой, что царь настолько глуповат, что не может распознать подстриженной или выбритой бороды от небритой или неподстриженной. Не проще ли объяснить замечание, сделанное Иваном насчет бороды, тем, что царь, зная плохо сущность предмета той беседы, на которую вызывал его иезуит, не решился вдаваться в эту беседу, чтобы, по причине собственного неведения, не стать в тупик и не прийти в такое состояние, когда поневоле придется согласиться с противником, не в силах будучи опровергать его доводами. Плохо же он был подготовлен к возможности вести спор с духовным западной веры о религиозных недоразумениях, потому что он, как вообще большинство русских и того времени, и других времен, мало интересовался высшею стороною религии, а прилеплялся только к внешним ее признакам. Кто знаком с историческим развитием русского благочестия, кто наблюдал над его настоящим проявлением, тот, вероятно, согласится с нами, что русский благочестивый человек очень часто не только не знает церковной истории и Св. Писания, но совершенно равнодушен к желанию узнать их; даже чтение и слушание Св. Евангелия (во время богослужения оно важно для него только как часть обряда) не составляет любимого занятия благочестивого человека; зато он углубляется в мельчайшие подробности богослужения, в правила, касающиеся разных внешних проявлений благочестия, читает или слушает с удовольствием повествования о подвигах святых, о их борьбе с бесами, поучения, относящиеся преимущественно к монашескому житию или к соблюдению разных приемов, приближающих человека, хотя бы внешним только образом, к монашескому идеалу. Таков был и царь Иван, и в этом отношении он был сын своей страны и своего народа. Он, как показывают его послания в Кирилло-Белозерский монастырь, читал аскетические поучения Илариона и других отцов; монашеское звание было для него идеалом христианского благочестия; он мечтал сам некогда отречься от мира и постричься: он даже выговаривал себе это право на будущее время у поляков, когда ему представлялась возможность быть польским



королем; он знал и любил богослужение до того, что сам основал у себя подобие монастыря; он исполнял положенные церковью правила, строго соблюдал посты и пришел в ужас, когда псковской юродивый предложил ему кусок мяса в Великий пост; совершая ужаснейшие злодеяния, Иван Васильевич каялся, называл себя, ради смирения и сердечного сокрушения о содеянных грехах, псом и другими унижительными названиями; он заботился о спасении душ тех, которых сам лишал жизни преждевременно, посылая за упокой их милостыню по монастырям и вписывая их имена в синодики. Одним словом, Иван был очень благочестивый человек своего века; но его благочестие было слишком дюжинное; Иван ни на волос не был выше рядовых благочестивцев своего времени. Он мало занимался такими вопросами, как сущность различия церквей, для чего требовались знания исторические и догматические; он обращал свое благочестивое настроение совсем к другой стороне религии. Его взгляд был ничуть не шире взгляда тех, которые считали важнейшим вопросом веры вопрос о ращении или пострижении бороды; над такими вопросами он задумывался: они его интересовали более других; в той сфере, которой касались подобные вопросы, он был знаток, а потому-то с ними он смело выступал против иезуита. То же сделал бы на его месте всякий другой русский дюжинный благочестивый человек. Ясно, что в беседе с Антонием Поссевином царь Иван Васильевич не показал себя человеком с особенно светлым умом, широтою взгляда и умственным превосходством пред своими современниками. Мы думаем, что если б царь Иван Васильевич был замечательно умным человеком, то, находясь в таком положении, в каком был поставлен относительно иезуита, он бы совершенно устранился от всяких препирательств и, раз объявивши ему, что не станет толковать с ним о вере, твердо стоял бы на этом, не поддаваясь искушению показать перед чужеземцем свое разумничанье.

Второе замечание, сделанное московским царем папскому послу, было более кстати, чем первое. Царь Иван Васильевич говорил: «Сказал нам наш паробок Истома Шевригин, что папа Григорий сидит на престоле, и носят его на престоле, и целуют его в ногу в сапог, а на сапоге у папы крест, а на кресте распятие Господа Бога нашего; и только так, ино пригоже ль дело? И в том первом вере нашей христианской с римскою будет рознь. В нашей христианской вере крест Христов на враги победа, и поклоняемся древу честного креста, и чтим и почитаем, по преданию святых апостол и святых отец вселенских соборов; у нас того не ведется, чтобы крест ниже

пояса носить, также и образ Спасов и Пречистой Богородицы и всех святых богоугодивших ставить так, чтоб на образ зрети душевными очима, возвышающе на первообразное, а в ногах ставити не пригоже. Также и престолы делают по церквам в груди человеку, что ниже пояса всякой святыни быть не пригоже. А то у папы Григория делается через устав святых апостол и святых богоносных отец вселенских седми соборов, и то от гордыни такой чин уставлен».

Здесь хотя также идет дело не о сущности религии, а только об обычаях, по крайней мере об обычаях действительно религиозных, исключительно относящихся к внешнему благочестию. Обычай, на который напал московский государь, явно указывал на такое высокомерие, которое трудно согласить с духом христианского смирения. Но хитрый иезуит старался предмету спора дать такой оборот, что сам царь Иван оказывался в отношении своей особы до некоторой степени с такими же требованиями уважения, какие западная церковь предъявляла для своего видимого главы. Сказавши, что папа есть всем государям отец и учитель, сопрестольник св. Петру и пользуется честью от немецкого императора, испанского короля и других европейских монархов, Антоний поставил в параллель с уважением, подобающим папе, уважение, подобающее московскому царю. «Ты, государь великий в своем государстве, и прародитель твой в Киеве был великий князь Владимир, и вас государей как нам не величать и не славить и в ноги не припадать!»

Так говорил иезуит, и с этими словами поклонился низко московскому государю.

Этими знаками раболепства не удалось иезуиту убедить московского государя признать справедливость целования ног папе, но он заставил его высказать на этот раз свою задушевную догматику о безмерной власти самодержавного государя.

«В нашей царской державе, — сказал царь, — и всех великих государей братии нашей нас пригоже почитать по царскому величеству, а святителем всем апостольским ученикам должно смирение показывать, а не возноситься и превыше царей гордостью не обноситься?»

Вот где главная причина, почему спорить о вере было бесполезно! Иван договорился до нее, до этой причины! Если мы оспариваем мнение о его начитанности, широте взгляда, умственном превосходстве над современниками, то никак не отрицаем в Московском государе твердости принципа самодержавной власти. Об этот принцип разбивались всякие попытки римского двора, всякие козни

Иисусова ордена! Как мог согласиться на какое бы то ни было соединение с римскою церковью, а следовательно, на какое бы то ни было подчинение папе государь, которого воля была превыше всего, который, по своему желанию, возводил и низводил архиереев, ругался над ними, травил собаками, который заставил Освященный собор нарушать в отношении царской особы канонические правила, обязательные для всякого православного? То, что он слышал от Шверигина, коробило его: церковная власть присвоила себе знаки величия, подобные тем, которые он мог признать только за царскою! Церковная власть хочет быть выше царской! Этого Иван Васильевич никак не мог переварить!

Нам могут сделать такого рода замечание: Иван Васильевич много сделал для утверждения самодержавия на Руси; он довел его до высшей степени; разве тут не нужно было особых способностей и большого ума?

Мы предвидим такое замечание и потому заранее отвечаем на него. Иван Васильевич находился в такой обстановке, что для усиления самодержавной власти и доведения ее до высшей степени в том виде, как он понимал ее, не нужно было государю ни особых способностей, ни большого ума, напротив (как это с первого взгляда ни покажется странным), недостаток того и другого только помогал достижению цели. Вообще преследовать одну цель и наклонять к ней все поступки и стремления не есть признак большого ума, так как упрямство не есть признак силы воли и характера. Там, где должна происходить борьба, где нужно изыскивать меры к одолению противных стихий, там необходимы и сильный ум, и крепкая воля. Но какого рода борьба предстояла царю Ивану? Мы видели тех, которые могли казаться в качестве его противников. Какой принцип проводили они, когда захватили временно власть в свои руки? Они считали царя своего глупым, неспособным к управлению, находили, что он поэтому должен слушаться умных советников. Но эти люди не думали такое временное положение дел превращать в постоянное на будущие времена, не пытались обеспечить его никаким законным учреждением, не стремились устроить так, чтоб верховный глава Московского государства всегда находился в необходимости советоваться с другими и подчинять свой произвол голосу своих советников. Кружок, сложившийся около Сильвестра и овладевший правлением государства, вовсе не имел признаков того кружка, который при вступлении на престол императрицы Анны Ивановны хотел ограничить самодержавную власть. Правда,

эти люди помнили по преданию, что прежние московские государи слушались во всем совета своих бояр, и такое же положение, какое имели некогда их предки, хотелось и им приобрести для себя при царе Иване Васильевиче, и они приобрели его не вследствие каких-нибудь дружных стремлений, а случайно, по стечению обстоятельств, но они не думали и не приискивали средств упрочить его и потому легко потеряли; они не противодействовали царскому гневу, и только Курбский бежал и изливал свою досаду в письмах к царю. Все прочие покорно подчинились тяжелой судьбе своей. Время, в которое они жили, было уже не то, что время их предков. Когда-то московские государи нуждались в боярах, опирались на них, а бояре нуждались в великих князьях: между ними борьбы не могло быть, поддерживалось взаимное расположение; если когда великий князь и положит опалу на какого-нибудь боярина, то было дело, касавшееся одного последнего, а не других; поступив круто с тою или другою личностью, государь все-таки держался бояр, как условия, и сообразовался с их советом — без бояр он был слаб. В XVI веке стали совсем иные условия. Верховная власть уже слишком окрепла и не нуждалась в боярах настолько, чтобы угождать им. За самодержавие была масса народа, а против этой силы что могли сделать попытки каких-нибудь десятков личностей, хотя бы и знатных и влиятельных?

Царь Иван рубил головы, топил, жег огнем своих ближних слуг: народ не роптал, не заявлял ужаса и неудовольствия при виде множества казней, совершаемых часто всенародно. По этим признакам нельзя ли заключить, что царь Иван делал народу угодное, поражая аристократов, которых народная громада не любила? Это предположение тем легче допустить по аналогии, когда история представляет нам множество примеров, что тиранские поступки государей над знатными особами принимались с одобрениями народом, но это было бы самообольщением с нашей стороны. При Иване Васильевиче было совсем не то. Народ безмолвно и безропотно сносил злодеяния в Новгороде, где гибли не одни знатные люди. Опричнина свирепствовала над всеми. После падения Сильвестра и его друзей мы не видим, чтоб царь Иван, преследуя знатные роды, делал какие-нибудь благодеяния народной массе; напротив, состояние народа было очень тяжело уже по причине жестоких войн, за которые ученые историки восхваляют царя Ивана. Причину безучастия народа скорее следует искать в общем качестве масс, привыкших к повиновению. Вообще казни и всевозможные злодеяния,

совершаемые верховною властью над отдельными личностями или даже фамилиями, очень редко возбуждают негодование народной громады и еще реже могут довести ее до каких-либо действий, имеющих смысл угрозы и опасности для верховной власти. Всякий член этой громады, видя то, что совершается над его собратом (если этот собрат в частности не близок ему), не чувствует на себе чужой беды, а скорее боится, чтоб с ним не случилось того же, и потому съёживается и хочет казаться как можно покорнее и смиреннее. Поэтому совершение казней может часто иметь только полезное действие для самовластья: народ приучается к большому повиновению и безгласности; толпа уважает грозную и страшную власть, благоговеет пред нею, — от этого царь Иван не получил в народе названия мучителя; народ нарек его только грозным царем.

Совсем иною заявляет себя та же видимо безгласная громада, если ее постигнет такая беда, которая в равной степени будет поражать каждого, принадлежащего к ней. Тогда негодование народа при первом удобном случае может разразиться бунтом. Понятно, что тогда каждый, обращаясь с своим горем к своему собрату, встречает и у последнего такое же горе: эта взаимность, это единство горя соединяет, спланивает разрозненных членов народной громады, и громада поднимается, руководимая одними для всех побуждениями и стремлениями, тогда как, напротив, если беда постигает только некоторые личности, то те, которых эта беда не коснулась, прежде всего ответят на жалобы своих собратий: а нам что за дело? Вот почему московский народ, безгласно и безропотно смотревший на варварские казни, совершаемые царем, взбунтовался во время московского пожара, поразившего слишком многих одинаковым для всех бедствием, посягнув на царского дядю, да и самому царю угрожала тогда опасность. Подобное могло случиться и после нашествия Девлет-Гирея, и недаром боялся этого царь Иван Васильевич. На счастье ему, этого не случилось, быть может оттого, что недавние казни и избиения нагнали на всех такой ужас, что недоставало смельчаков заговорить к народу.

Как бы то ни было, народ смотрел безропотно на все, что делал царь Иван Васильевич; жертвы не сопротивлялись; ему, собственно, не с кем было вести борьбу. Царь делал все, что хотел, не стеснялся ничем, ни нравственными убеждениями народа, ни верою, ни человеческими чувствами — власть самодержца в лице его была выше всего, но она, в сущности, и без того была уже сильна. Царь, можно сказать, только сделал пробу, точно ли она так сильна, —

и проба вышла удачною. Все, что, как казалось царю Ивану, могло хотеть поставить предел произволу, было уничтожено без борьбы, без противодействия. Но для этого не нужно было царю Ивану большого ума; достаточно было самодурства — цель достигалась лучше, чем могла быть достигнута умом.

Этим и закончим нашу характеристику личности царя Ивана Васильевича. Наш взгляд, как могут видеть читатели, в своем основании не заключает ничего нового. Мы старались только развить и защитить сложившееся под пером Карамзина и господствовавшее у нас мнение о сумасбродном тиране, которого новейшие историки, постепенно поднимая, дотянули уже до того, что указывают в нем идеал не только для Руси, но для целого славянского племени.

